

К. Г. ЛЕВЫКИН

Деревня Левыкино и ее обитатели



Константин Григорьевич Левыкин

Деревня Левыкино и ее обитатели

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5746487

Деревня Левыкино и ее обитатели.: Языки славянской культуры; Москва; 2002

ISBN 5-94457-038-5

Аннотация

Воспоминание-повесть об истории трех русских деревень старинного Мценского уезда – Левыкино, Ушаково, Кренино – и о судьбе их крестьянских родословий в годы лихолетий XX в. Свою жизнь они начинали в далекое Смутное время XVII века. В это тревожное время сложились особенности уклада жизни этих и подобных им деревень государственных крестьян, предки которых несли когда-то государеву службу на южных границах отечества. Тогда уже обозначились особенности характера, морально-этических норм поведения, гражданского сознания и культурных традиций этого особого слоя российского крестьянства. Автор книги унаследованной от своих дедов и родителей памятью сердца, а также с помощью профессионального опыта историка-обществоведа ищет в воспоминаниях о родословиях Левыкиных, Ушаковых и Ермаковых эти особенности и в них находит ответ на вопрос, как и почему им удалось сохранить себя в жестоких социальных, экономических и политических стихиях XX века. Последняя трагедия на Мценской земле разыгралась осенью 1941 года и продолжалась вплоть до 1943 г., до разгрома фашистских оккупантов в сражении на Орловско-Курской дуге. В нем и на других фронтах воевали и Левыкины, и Ушаковы, и Ермаковы. Фашистские бомбы и снаряды разрушили маленькие деревеньки, простоявшие на своей земле почти четыреста, а может быть, и больше лет. Но не распался тогда колхоз «Красный путь», не исчезли с карт Мценского района названия родных деревень. Они оставались еще живыми. Однако конец их был близок: он наступил в суе послевоенных перетрясок колхозного строя. Автор книги пытается объяснить и эту причину случившейся драмы.

Содержание

Деревня Левыкино и ее обитатели	5
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Константин Григорьевич Левыкин

Деревня Левыкино и ее обитатели

*Памяти моей родной деревни Левыкино, моих родителей,
родственников и всех деревенских земляков – Левыкиных и Ушаковых-
посвящаю*

Издание осуществлено при поддержке *Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)* проект 00-01-16087

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G • E • C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

Деревня Левыкино и ее обитатели

Мне всегда казалось, что право писать мемуары, рассказывать посторонним людям о своей жизни, об увиденном и услышанном на ее пути имеют только люди исключительные – государственные деятели, известные ученые, писатели, военачальники, герои, словом, люди, имеющие большие заслуги на том или ином поприще жизнедеятельности. Себя я никогда не считал таковым, а поэтому никогда и в мыслях не имел смелости, да и желания на такой поступок. Жизнь моя мало отличалась от жизни моих сверстников. У моего поколения была общая судьба, как мне казалось, одинаковые перспективы и возможности. Нас объединяли общие идеалы, а поступки диктовались общими историческими и материальными условиями жизни.

Я родился в советское время, учился в советской школе, родители мои были простые люди, вышедшие из крестьянской семьи среднего достатка. Они воспитали меня, моих братьев и сестру в соответствии со своим пониманием гражданских, общественных и родительских обязанностей. Этого воспитания хватило нам всем, чтобы прожить честную жизнь и передать родительскую эстафету нашим детям.

Я ушел на войну добровольцем. Как и многие, честно выполнил свой долг перед Родиной. Но каких-либо выдающихся подвигов не совершил. Мне суждено было остаться в живых, хотя убитым я мог быть множество раз. Как и мои сверстники, ушедшие на войну со школьной скамьи, я вместе с ними одинаково решал свои жизненные задачи в мирное время. Учился в университете, а потом всю жизнь работал в меру своих возможностей, как и все. Поводов для письменных воспоминаний у меня не было.

Но с течением жизни, по мере достижения известного возрастного рубежа память все чаще и чаще стала возвращать меня в прошлое, к моим родителям, родным и неродным людям, к родным местам и дорогам, по которым когда-то ходил, к моим друзьям, которых у меня было много, и к немногим недругам, к тем, кто меня понимал, и тем, кого я не сумел понять. Все больше и больше мной стало овладевать наивное желание: вновь – не заново, а только вновь – прожить то, что безвозвратно ушло и что изменить, увы, уже нельзя. Сделать же это возможно только единственным способом – запастись бумагой и карандашами, выбрать свободное время и сесть за стол.

Но, во-первых, долго не было свободного времени, а во-вторых, желание долго упиралось в сомнения и обыкновенную лень. Наконец свободного времени стало достаточно, и однажды утром я сел за стол. Но я долго сидел за столом, не написав ни одного слова, не придумав начала, которое оправдало бы мой поступок.

Дело оказалось сложнее, чем я предполагал. Наконец, первые строки все-таки появились. Теперь я их перечитываю и сомневаюсь. Я не очень надеялся и до сих пор не питаю никаких иллюзий, что эти воспоминания найдут постороннего читателя. Но все-таки хотелось бы, чтобы дети мои и внуки, а потом, может быть, и правнуки, даже если они будут беспощадно строги к оценке моего времени, нашли бы время их почитать. Они, надеюсь, простят мне мои литературные неудачи и поверят в правдивость излагаемых фактов, в искренность моих убеждений и честность поступков.

А начинать я решил с рассказа о моей деревне Левыкино, в которой жили мои деды и бабки, мои родственники и родители, в которой родился я сам и в которой все жители носили одну и ту же фамилию – все были Левыкины. И припомнился мне яблоневый сад, который когда-то посадили наши прародители по краям Левыкинской деревни и оставили его нам в наследство как добрую память о себе.

* * *

Еще с далекого детства меня занимали всяческие догадки о каком-то особом происхождении нашей деревни, о каком-то только ей свойственном достоинстве. Удивляли меня и название деревни, и звучание нашей деревенской фамилии. Долгое время я был уверен, что она была одной из редких среди прочих названий.

Сама по себе деревня Левыкино была, как и многие другие в наших мценских окрестностях, невелика по размеру и незаметна по всем остальным признакам внутреннего устройства и быта. И все же и у меня, и у моих родственников и односельчан всегда жило особое чувство по отношению к родному месту и даже амбиция причастности к какой-то необычной истории этого места. Ведь эти места знакомы миру в описаниях великих русских писателей: Тургенева, Толстого, Фета, Бунина, Пришвина. Читая их прекрасные повести, романы и рассказы, я всегда мысленно ходил и жил вместе с их героями по Бежиным лугам, Поповым и Монашьим верхам, полям и лесам, сознавая себя органической частью прекрасной нашей южнорусской подстепной природы и всего ее человеческого отродья. Все это всегда наполняло меня и многих других моих земляков чувством гордости.

И все-таки деревенька наша Левыкино была неприметна и неказиста. И казалось, что рассказать о ней было нечего. Жили в ней люди, как все, трудились, как все, и рождались и умирали тоже одинаково. Но как-то однажды, когда я уже стал историком по профессии, некоторые ее атрибуты, сохранившиеся в обиходных названиях мест, деревенских угодий, в определениях обычаев, зазвучали для меня языком далекого исторического времени. Густые орешниковые заросли за деревней назывались у нас засекой, а поляна между засекой и краем деревни – лазами. А орешниковые кусты на задах деревни звались колычками. И тогда я уже стал понимать, что возникновение деревни в далеком прошлом было не случайным в истории не только наших мест, но и в истории государства российского и ей была в ней назначена своя роль. Она всю жизнь стояла на древней оборонительной черте Московского государства.

Но, поняв это, я, к сожалению, не занялся разыскиванием новых исторических фактов, которые подтвердили бы мою догадку. Предмет моих интересов как историка лежал в более позднем историческом времени, а до писания мемуаров дело еще не доходило. Но вдруг мои догадки получили новый импульс любопытства.

Однажды ко мне как к директору Государственного Исторического музея пришла посетительница. Она представилась как научный сотрудник Института русского языка и литературы Академии Наук СССР. К сожалению, ее фамилии я уже не помню. Просьба ее ко мне касалась допуска к работе в фондах отдела древних рукописей и старопечатных книг. И вдруг она неожиданно спросила меня, откуда я происхожу родом – не из Мценска ли? Я сказал: «Да, из Мценска, точнее из деревни Левыкино Мценского района Орловской области». Собеседница моя удивленно и радостно оживилась. И тут я узнал от нее, что в книге «Южнорусские наречия», составленной из отказных грамот XVII века и изданной ее институтом, несколько раз упоминается фамилия служивого человека из Мценска, сына боярского Василия Мелентьева Левыкина. И добавила вопросом: «Не предок ли он ваш?» Теперь еще больше удивился и обрадовался я, так как воспринял сообщенный мне факт весточкой от далекого предка. Вскоре она подарила мне экземпляр книги, и я с интересом стал вчитываться в тексты грамот по Мценскому уезду, а потом и по другим уездам Орловской и Курской губерний. И вот из XVII века мне открылись знакомые с детства названия деревень, имен и фамилий.

Наконец на одной из страниц книги, в отказной грамоте я увидел название моей деревни. Сейчас я читаю ее с самого начала: «Лета 1634 июня 25 день, книги поместных

отказные по государевой Царя и Великого князя Михаила Федоровича Всея Руси, грамоте из Поместного Приказа за подписью дьяка Пятого Спиридонова и по наказной памяти Воеводы Лазаря Петровича Ододорова.

Отказ мценянина сына боярского Семена Яковлева, сына Лобова по челобитию мценянина Еремея Русинова сына Оших-мина. Ездил он (т. е. С. Я. Лобов) в Мценский уезд, Чернский стан, поместья Дмитрия Субочева в деревне Левыкинской под Баклановым лесом...»

Вот оно что, прочитавши, подумал я! В 1634 году деревня-то наша уже стояла там, где спустя четыре столетия родился и я. И тут же возникло соображение, что она стояла и много раньше того случая, когда туда на отказ приехал сын боярский Семен Лобов. И место для деревни было выбранное тогдашними людьми, может быть, в XVI веке, а может, и того раньше, не случайное, а очень боевое и сторожевое на всю округу. И поселились в ней тогда люди, чтобы далеко видеть и предупреждать страну свою, землю свою о всяческих опасностях.

Сейчас деревни Левыкино нет. Стерло ее с лица земли жестокое лихолетье Великой Отечественной войны. В течение почти двух лет, в 1941—1943 годах, сжигала и разметала она взрывами авиационных бомб и артиллерийских снарядов и нашу, и другие окрестные деревни, вставшие когда-то в древности на боевых высотах и косогорах на службу государеву. Сгладила война их усадьбы, рубежи, рвы и канавы, изгнала оттуда людей на новые неблизкие места.

И все же! И все же и до ныне не исчезла еще память о нашей деревне. Ее хранят старые ракиты, еще не сгнившие до конца пни от могучих дубов и лип, росших когда-то по околицам, и вдоль исчезнувших дорог, и вокруг старого деревенского выгона, и на плотинах деревенских прудов. А в шестидесятые-восемидесятые годы стояли на ее месте два-три обитаемых домика, в которых доживали свой век покинутые или осиротевшие старики. К ним не пришли с войны их сыновья. Теперь только они охраняли угасающей жизнью своей эту микроскопическую опорную точку истории Русского государства как топографическую реликвию на некогда проходившей здесь ее исторической и военной границе. За чертой исчезнувших деревень когда-то начинались здесь дикие и опасные земли, из-за которых наваливались на Русь вплоть до XVIII века орды грабителей. В XVII веке это были уже не волны кочевников, ищущих кормовые пространства и иногда оседающих на этих пространствах, живущих в них, принося им свои названия и воспринимая местную жизнь с ее обычаями, хозяйственным укладом и культурой. Теперь это были подготовленные и организованные набеги грабителей, сжигающих дома, опустошающих земли, угоняющих скот и уводящих в полон русских жен и невест.

Неслучайно 25 июня 1634 года в деревню Левыкинскую приехал сын боярский Семен Лобов по государевой грамоте Царя и Великого князя Всея Руси Михаила Федоровича передать служилому человеку мценянину Еремею Русинову сыну Ошихмину поместье Дмитрия Субочева. «То Дмитрия Субочева не стало, умер в нынешнем 1634 году, а жену его взяли в полон крымские люди». В поместье тогда остались сиротами «четыре дочери: девки Фетиница, да Онтанидица, да Не-лидица, да Озиница».

Новый хозяин Еремей Русинов сын Ошихмин «сговорил за себя большую дочь, девку Фетиницу. И Семен Лобов отказал тому Еремею Ошихмину и своякиням его из поместья Дмитрия Субочева тридцать четей в поле, а дву потому же (т. е. всего 90 четей при трехпольном обороте) со всякими угодьями по семи четей человеку да двор помещиков Дмитрия Субочева». Из грамоты мы узнаем непростую структуру поместья. Оказывается, что во дворе Субочева жил еще крестьянин Игнатка Федоров с сыном Сенькой. А к поместью примыкал еще другой двор крестьянский, а в нем жил крестьянин Исайка Степанов с сыном Степанкой. Видимо, это были зависимые от служилого человека люди — крепостные. На отказе, т. е. в момент передачи, в качестве свидетелей присутствовали жившие по соседству и, воз-

можно, даже в той же деревне другие дети боярские, тоже помещики «Федор Лаврентьев сын Левонов, да Афанасий Алферьев сын Очкасов, да Семен Никонов сын Булавенков, да Аникей Алферьев сын Очкасов, да их крестьянин Федот Иванов, да Федора Левонина крестьянин Фрол, да Но-восилец сын боярский Григорий Алдакимов сын Таратухин, да Илейка Наседкина крестьянин Емельян, Государева сотника крестьянский староста Семена Наседкина Мокей Семенов с товарищами».

На акте передачи поместья умершего Дмитрия Субочева в деревне Левыкинской в тот день, очевидно, собрались все ее обитатели и соседи: служилые люди, дети боярские, выполнявшие здесь государеву службу по охране русской границы. Вместе с ними были и их крепостные крестьяне. Из этого можно сделать вывод о том, что к указанному времени место деревни и ее окрестностей было достаточно обжитым и выполняло определенную функцию в системе Мценского района обороны границы и постоянного наблюдения за дикой степью. И еще одно предположение возникло при чтении грамоты. Видимо, тогда определилась оптимальная мера количества дворов в, если можно так назвать, типовой служилой деревне. Это прежде всего зависело от возможности прокормиться на ее неудобной для ведения хозяйства, ограниченной территории. Напомню, что в памятное мне время на всю деревню здесь имелся только один колодезь с водой, пригодной для людей и скота. Не случайно за недостатком воды с тех давних времен люди научились здесь строить пруды и плотины, чтобы собирать и экономно расходовать атмосферную воду. Деревни на боевых местах вдоль засечной черты в 15—20 дворов можно, наверное, определить для нашей мценской округи как типовые для своего времени.

Неясным, однако, остался для меня вопрос о том, с какого времени в таких деревнях разноименные семьи детей боярских и их крестьян стали жить под общей фамилией. Не разгадал я и того, почему деревня наша имела название Левыкинской. Правда, в других грамотах Мценского уезда я встретил имя сына боярского Василия Мелентьева Левыкина. Ему тоже поручалось выполнение указов Московского Царя по передаче поместий в других деревнях новым хозяевам за убытием старых. Может быть, или он сам, или его предки и основали деревню Левыкинскую?

Все это, однако, требует подтверждения другими документами. Я надеюсь, что мой сын Алексей, может быть, заинтересуется моими предположениями и займется их проверкой. Может быть, ему удалось бы выяснить, какая из четырех де-вушек-сирот Дмитрия Субочева и кто из детей боярских или их крестьян дали начало моей родословной.

Но пока сам я ограничусь сделанными предположениями, будучи уверен в наличии для них реальной основы. Теперь же я опишу деревню, какой я ее запомнил с детства сам.

Давно уже исчезло из упоминания в нашей округе имя того Баклановского леса, который был назван в отказной грамоте лета 1634 в качестве ориентира местоположения деревни Левыкино. Не только я, но и мои родители, а также и бабушка моя просто не знали этого наименования. В нашем, двадцатом веке пользовались уже другими ориентирами.

Деревня Левыкино до начала Великой Отечественной войны стояла и дымила своими трубами по левую сторону, через луг, от Каменной дороги, как мы называли в свое время нынешнее асфальтовое Симферопольское шоссе. Кстати, скажу, что новая автомобильная трасса теперь проходит по другую сторону нашей деревни. И, увы, увидеть ее с нового участка трассы из-за разросшегося молодого осинника нельзя. А в конце двадцатых — начале тридцатых годов, из которых я веду свой рассказ, деревня стояла на 301-й версте дороги от Москвы. Здесь сходились новая и старая трассы древнего пути из Московского государства на юг, в Крым. Я помню участок широкой гужевой дороги, которая выходила на Каменное шоссе справа от железнодорожной станции и деревни с одинаковым названием Бастыево. Называли эту дорогу большаком. А тянулся он сюда из-за противоположного станции Бастыево Стрелецкого леса, за которым и ныне находится знаменитое тургеневское Спас-

ское-Лутовино-во. Оттуда, с севера тянулась эта важная магистраль из Москвы на юг, в Крым. А наша деревня, расположенная на высоком месте слева от нее, охраняла свой участок дороги на подъезде к городу Мценску. До города от нас было еще семь верст.

Чтобы попасть в нашу деревню, надо было от станции Бастыево проехать или пройти пешком с километр пути по старому большаку и пересечь на отмеченной триста первой версте Симферопольское шоссе. Отсюда сразу открывался вид на наше Левыкино. С этого места я в воображении своем до сих пор с детства помню и вижу ее покрытую пеленой цветущего в весенние дни яблоневого сада, А вокруг над полями ржи и пшеницы летним днем голубело высокое небо, в котором раздавалась неумолчная песнь жаворонков.

Воображение это запечатлелось в моей памяти от ежегодных встреч с деревней, когда наша, уже ставшая городской, семья приезжала сюда на месяцы летних каникул и отпусков. На станции нас обычно встречали с подводой наши деревенские родственники. На телегу грузился весь наш багаж с припасами городской продукции, а мы, все приезжие, шли пешком сбоку телеги. Идти до встречи с деревней было недалеко, не более километра. И она открывалась перед нами неожиданно из-за бастыевского пригорка, через расстилающийся под нашими ногами не скошенный еще цветущий луг, дугою опоясывающий с востока на запад подножие нашего деревенского чудо-острова.

Наверное, в древние времена этот заносимый зимой по верхние края снегом, по весне затопляемый полной водой, а к началу лета расцветающий цветами разнотравья луг служил преградой на пути внезапных нападений на нашу сторожевую деревню крымской конницы с тыла.

Восточный конец луговой дуги, опоясывающей деревню, был перегорожен плотиной, поверх которой вниз по лугу стекал ручеек от недалекого родничка из прорытого земляного рва. Он составлял часть земляной фортификации на нашем придеревенском участке оборонительной засечной черты. Мне кажется, что самым ранним краем своей детской памяти я застал этот родничок еще живым. А когда он окончательно засох, мы с товарищами моими ходили туда в ров с лопатой и пытались откопать его. Но наши попытки были тщетны.

На плотине в давние года были посажены двумя рядами ракиты. Они выросли в большие деревья с толстыми, в два, а то и в три обхвата стволами с разросшимися зелеными кронами. Несколько старых деревьев стояли еще и в последний мой приезд. Я проходил мимо них, а они встречали меня шепотом зеленых листьев на тихом непрерывном ветру. От тихого их шума и прозвали мои предки это место Шуменками. Шумят старые ракиты что-то на своем ракиновом языке о том, что они видели, что слышали. Да вот до сих пор никому не довелось разгадать их рассказа.

Прорытый когда-то за плотиной ров затем проходил по южной окраине деревни. Его остатки еще зрительно обозначались в памятные мне тридцатые годы.

За этим рвом перед деревней расстилалась просторная и ровная поляна. Она имела название лазы и служила вторым деревенским выгоном. Наверное, здесь когда-то через древнюю засеку был проделан лаз, давший нашей прекрасной поляне свое имя. На ней мы предвечерней летней порой в ожидании стада играли с азартом в лапту. А орешниковые кусты сохраняли тогда название засеки. Орехов в них хватало на всю нашу деревенскую ребятню.

Теперь я могу допустить, что и поляна-лазы, и кусты-засека, и кусты-колычки – все это были остатки некогда стоявшего здесь дремучего кленового и дубового Баклановского леса, упомянутого в знакомой нам Отказной грамоте, писанной мценянином Иваном Петрищевым в 25 день июня лета 1634. Мой старший брат говорил мне, что Бабушка наша Арина Стефановна будто бы рассказывала ему об этом лесе, о том, как она в молодости своей ходила в этот лес по грибы и по ягоды. А иногда в его дремучих чащобах приходилось долго искать забредших туда деревенских коров. В древние времена через лаз предки наши выгоняли на опасные поляны леса пасти своих коров под строгим и постоянным наблюдением. Не слу-

чайно, наверное, у нас в речи не употреблялся глагол «пасти». Деревенское стадо у нас «стерegli», охраняли от возможных нападений все тех же крымских налетчиков-грабителей.

А на западной окраине деревни луговая долина, обогнув ее узкой лощиной, выходила в Попов верх. До него по северному обводу, по обеим сторонам луга рос, а сейчас еще более разросся мелкий осиновый и березовый лес. Он, как и раньше, зовется Кренинским лесом. За ним на косогоре сохраняются еще остатки маленькой деревеньки Кренино. Кренинский лес в Поповом верху заканчивался густыми зарослями орешника и ежевики. Здесь всегда было много и земляники.

Слева от Попова верха за дубовой рощей, или просто дубин-ником, стояла вплоть до конца Великой Отечественной войны наша Беляниновская церковь Иоанна Предтечи. Рядом с ней был погост и старая церковно-приходская школа. В этой церкви крещены были и похоронены мои деды и прадеды и бабки с прабабками; крестили в этой церкви и меня. Во фронтовом сорок третьем году во время битвы на Орловско-Курской дуге на Поповке и в старой церкви стоял командный пункт воздушной армии. Мне об этом рассказывал бывший в то время членом Военного совета этой армии генерал Московский. Церковь служила наблюдательным пунктом. С ее колокольни небо и горизонт просматривались чуть ли не до самого Орла. Ее обстреливали из дальнбойной артиллерии, бомбили с воздуха. Но она уцелела. Святое место не разрушила жестокая война. Но в 1945 году мценские власти распорядились ее сломать, а кирпич употребить якобы на восстановление разрушенных зданий города. Никто не ведает теперь, сколько домов построили из этого святого кирпича. С тех пор наш погост остался без церкви.

На нем до сих пор хоронят, но уже без церковного пения, без ладана и без звона колоколов. Да ведь для новых поколений эти атрибуты стали надолго ненужными. Старики уже давно отошли в царство небесное. А недавнего «совка» быстренько принесут сюда, скажут коротенькую речь с напутствием: «Спи спокойно, дорогой товарищ!» – да и поспешат на поминки. А скоро после них и забудут своего «дорогого друга и соратника». Неприкаянный вид имеет теперь наш погост на голом месте. Ничего здесь не напоминает старую благочестивую Поповку.

А вот наш прекрасный деревенский луг каждую весну и в лето цветет, и благоухает, и будит воспоминания детства. Однажды я прошел по нему со своим старшим сыном и вспомнил, как, бывало, мы встречались с ним в одно из солнечных утр нашего приезда в деревню из Москвы на летние каникулы.

Для взрослых людей луг был главным сенокосным угодьем. Был урожай сена хорошим, был сенокос в сухую погоду, было у наших коров достаточно сена. Значит, было и молоко, значит, была в зиму сытая жизнь. Но бывало и иначе. Лучше не вспоминать того, что было иначе!

А для нас, деревенских ребятишек, луг был прекрасной рекой радости. С ранней весны крестьянская детвора паслась на нем после долгой зимы, пробуя первые дары пробуждающейся и расцветающей природы. Сначала мы объедались кислыми листьями лугового щавеля, его молодыми и нежными стебельками, которые назывались у нас кочетками. Потом мы искали на лугу вкусную, горьковатую, как редиску, траву под странным названием сергибус. Съедобными были у ней толстоватенькие мясистые стебельки. Нигде кроме наших мест я не слышал такого названия лугового растения из семейства зонтичных. О таком названии этого семейства я узнал уже из школьного учебника ботаники. А тогда на лугу мы собирали целые букеты стебельков, очищали от шершавой оболочки и с аппетитом друг перед другом поедали этот луговой деликатес.

А на луговых склонах, по опушке Кренинского леса, в березняке мы находили очень редко попадающиеся желтые цветочки баранчиком на невысоком тоненьком стебельке. Их так и называли – баранчики. Он тоже был съедобен. Но теперь вкуса его я не помню. Помню

только, что мы очень усердно его искали, а когда находили, с удовольствием съедали его баранчиком завитую желтую головку.

С середины лета уже по скошенным склонам поспевала луговая клубника, некрупная, но очень сладкая и душистая. Особенно сладка и духовита, да и покрупнее, она поспевала на теплых каменистых местах.

Такие места называли у нас каменчиками. На них сходились иногда в соперничестве ребяташки из разных, недалеких друг от друга деревень. Побеждали те, кто оказывался посильнее.

В березняке Кренинского леса и в Поповом верху в эту же пору было много земляники, костяники, а в зарослях орешника – куманики. Куманикой называли у нас ежевику. А землянику называли просто ягодой. Это название было, наверное, общим у всех славян. Однажды, побывав в Югославии, я в одном из ресторанов среди десертных кушаний в меню прочитал название «ягода». Под этим названием нам подали клубнику в сахаре. Там же, в Югославии я услышал название лесной стороны, видной вдалеке с пригородных высот Белграда. Шумавой называется эта сторона. И я вспомнил наши деревенские Шуменки в начале нашего деревенского луга и запомнившиеся с детства наши русские строки: «Шумит, гудит Зеленый Шум».

В нашем Кренинском осиновым и березовом лесу в сырое, дождливое лето было очень много грибов, особенно подосиновиков и подберезовиков. А в Поповском дубиннике водились и белые. Мценские горожане и сейчас приезжают сюда по грибы с большими корзинами. И всегда они не остаются пустыми.

А еще на нашем лугу росла на открытом склоне перед деревней одинокая дикая яблоня. Она расцветала и плодоносила через год. Ее плоды поспевали к концу лета. Их было очень много. С ними яблонька в осень расцветала второй раз. Плоды были необыкновенно красивые, ярко-пунцовой окраски. Но они были и необыкновенно горьки. Наберешь, бывало, не устояв от соблазна, целую пазуху этих яблочек, попробуешь, да и с большим сожалением разбросаешь. А потом оказалось, что если эти яблочки собрать и, дождавшись зимы, заморозить их в холодном сарае, то они становились не только съедобными, но и необыкновенно сочными и нежно-кисло-сладкими.

И еще одно воспоминание о луге живет во мне до сих пор. Я вспоминаю на этом лугу летнее утро на день престольного праздника Иоанна Предтечи. Накануне с вечера и в наступившее утро к нам в деревню съезжались гости. Редко в какой двор они не приезжали. Приезжали на празднично убранных подстилками телегах, всеми семьями. Гости были празднично одеты. Все было очень достойно. Хозяева радушно встречали, а гости не менее радостно встречались. Встреча была праздничной и для лошадей. Их распрягали, ставили под навес и задавали корм. Исчезла наша и подобные ей деревни. Исчез и этот древний родовой обычай встречи гостей.

В такое утро я и мои товарищи, к кому еще гости не подъехали, выбегали на край нашей деревни и с плотины с нетерпением смотрели на дорогу, «не едут ли наши». А взрослый народ уже тянулся к церкви. Над нашим лугом плыл звон колокола, зовущий к праздничной литургии. Этот звон действительно малиновой мелодией разливался по всей нашей деревенской округе. А под нами расстилался еще не скошенный, как будто специально раскрашенный к празднику луг. Дон-дон, выбивал в большой колокол наш пономарь – хромой и многодетный Тихон. А потом его проворными руками начинался серебряный перезвон малых колоколов. Тихон умел звонить. Говорили, что под хмельком он мог вызвонить комаринского. Но в этот день святого престола Иоанна Предтечи все было благочестиво. На колокольне ему помогал его старший сын Эммануил. А в деревне он звался Манулкой. Был этот Манулка проницательным и разбитным мальчишкой-драчуном. А вырос в известного по всей округе вора-конок-рада. Был он за это неоднократно и жестоко бит мужиками. Но это не

отучило его от преступного промысла. Дома он не жил. Бродяжил. И в конце концов где-то был прибит до смерти. В памятный же мне день Манулка был еще мальчиком – ровесником моей сестре.

Праздник Иоанна Предтечи в просторечии у нас называли Иваном Притейчем. Это был очень светлый и радостный праздник. В это время в деревне завершался один цикл весенне-летних работ и начинался другой – сенокос. Чаще всего на него выпадала хорошая погода, а вместе с ней – и хорошее настроение у всех людей. Праздничный отдых был нужен им для следующей трудовой натуги.

Радости нам, ребятам, в этот день добавляли старушки торговки, приходившие из города с диковинными товарами-гостинцами. На зеленой поляне перед церковью с утра начиналась праздничная ярмарка. Бабушки-торговки все были какие-то необыкновенные, чистенькие, в белых платочках. Они устраивались в ряд и выставляли на показ свой гостиничный товар: пряники, жамки, длинные, перевитые разноцветной лентой конфеты, леденцы петушками на палочке, баранки, в маленьких кулечках жареные подсолнушки и игрушки – глиняные свистульки в виде лошадок, коровок, козлят и птичек, громкие трещотки и еще не бог весть что такое, от чего было невозможно ни отойти, ни глаз отвести. До сих пор не проходит у меня несбыточная мечта вернуться туда в это светлое утро, походить босыми ногами по утренней росе, по нескошенному лугу, по прохладным утоптаным дорожкам, нежно ласкавшим когда-то в жаркий полдень своей прохладой наши разгоряченные ребячьи пятки. Но где теперь эти дорожки?!

Мне приходилось в недавние времена бывать в старых деревнях Тульской, Рязанской, Ярославской и Владимирской областей. Особенно страшное впечатление в них производили на меня деревенские улицы и придеревенские дороги. По ним с большим риском застрять в грязи или поломать рессоры мы осторожно, съезжая с асфальтовых трасс, медленно подъезжали к заброшенным деревням. Я вспоминал при этом наши гужевые наезженные колеи, соединяющие колхозные деревни в тридцатые годы. По ним спокойно, в меру пыля, катились наши деревенские телеги и груженные возы. А теперь таких дорог нет. Теперь они превратились в изуродованные тракторными колесами и гусеницами широкие, чуть ли не в километр, полосы земли. На лошадях по такой дороге не проедешь. Да их и не стало больше в деревне. Редко увидишь теперь мужичка на подводе. Теперь тракторист домой, на обед и в местный магазин-сельпо под вывеской «Товары повседневного спроса» ездит на тракторах, а шоферы – на своих могучих «МАЗах» и «КРАЗах», а механизаторы из подвижных строительных колонн – на огромных автокранах иностранной фирмы «Като».

Такую дорогу или деревенскую улицу пешеходу в дождливый день перейти становится невозможным делом. Не въехать в деревню и на легковом автомобиле, хотя пути-то останется каких-нибудь 200—300 метров от магистрального шоссе. Именно в силу этой причины многие деревни в нашем российском Черноземье и Нечерноземье попали в разряд бесперспективных. Между прочим, среди них оказалось с конца 40-х годов знаменитое село Монастырщина на берегу Дона, в окрестностях Куликова поля. Но стоило накануне 600-летнего юбилея Куликовской битвы построить к ней однокиллометровый асфальтированный подъезд, как старое село ожило.

В нашу деревню такой дороги не подвели. Тогда, в начале тридцатых в весеннее утро встречи мы с Мамой, приехавшие из Москвы, подъезжали к ней на подводе по аккуратно наезженным колеям крестьянского пути. Мы выехали из-за бас-тыевского пригорка и остановились, чтобы с него полюбоваться открывшейся нам картиной на противоположной стороне луга. Над деревней стояло бело-розовое облако цветущих садов, а полисадники перед окнами домов благоухали цветущими сиреневыми кустами.

Вдоволь нагнавевшись на эту красоту, мы с трепетом от ожидания встречи и со страхом предстоящего спуска под гору, как бы не растрепала колхозная лошаденка нашу подводу,

наконец спускались на дно луга. Оттуда деревни уже было не видно. Она внезапно скрылась от нашего взора за горой, на которую нам теперь предстояло подняться по длинному глинистому спуску. Лошаденка бойко взбегала по нему, и мы, минуя ракитовую плотину Кренинского пруда, выезжали на наш левыкинский выгон. Деревня снова открылась перед нашими глазами.

Я очень хорошо помню свою деревню, всех ее обитателей в исторические годы колхозных пятилеток. Помню их дома, сады, огороды, имена и прозвища соседей и даже некоторые сокровенные тайны их житья-бытья. Я помню исчезнувшие названия сортов яблонь, груш и слив в их садах и даже места, где они росли, так как самолично участвовал в ребячьих набегах на эти несчастные деревья, чудом донашивавшие свои прекрасные плоды до полного вызревания. В памяти моей даже оживают клички деревенских коров, лошадей и собак. Нашу корову, например, звали Рябкой. Она была большая, круторогая. И вымя у нее было большое. И молока вкусного она давала много. А у соседа Сергея Петрова была плюгавая бодучая корова Бырдя. Другого имени ей придумать было невозможно. А лошади были даже с необыкновенными кличками: Гро-модар, Озериха, Волна, Волнушка, Оглоед, Пеганька. Вспоминаются даже и такие детали, как место расположения в сенцах у соседей кадушек с водой и квасом. В летнее время в любой дом можно было войти, повернув дверную щеколду, и утолить жажду даже в отсутствие хозяев.

* * *

Итак, из-под горы, мимо Кренинского пруда мы вышли на выгон. По левой его стороне протянулся ряд домов, составивших позднее выселки хозяев, выделившихся в начале века из основной исторической части деревни в результате семейных разделов. Этот ряд состоял из пяти домов. А направо от выгона, от нашей деревенской дороги ответвлялась дорога в упомянутую уже мной бывшую барскую деревню Кренино. Левыкинский выгон отделяла от Кренина длинная и глубокая канава и рубеж, по которому были давно-давно высажены ракиты. Стволы их в мое время были уже очень старыми, толстыми и невысокими. В верхней части они разрастались молодыми побегами. Среди этих зарослей мы обычно устраивали свои наблюдательные гнезда во время вечерних деревенских гуляний молодежи. С выгона каждый день ранним утром и после полудня выгоняли стеречь наше деревенское стадо и каждый вечер его здесь встречали. Примерно за час-полтора до встречи здесь собиралась вся подростковая молодежь, ребята и девчата. Начиналась общедеревенская игра в лапту. Играли с необыкновенным азартом. Были у нас и настоящие мастера этой игры. Они владели особой ловкостью подачи, особой силой удара по тугому, литому черному мячу. Но я еще помню, как играли в мяч самодельный, туго свалянный из коровьей шерсти. А другие игроки отличались необыкновенным умением ловить свечи и метко кидать мяч в бегущего из «города» по полю противника. Особенно эти ловкачи любили охотиться за девчатами, норовя попасть в них мячом в ту часть тела бегущей девушки, которая ниже поясницы. Особой ловкостью во всех упражнениях в этой игре владел наш деревенский вожак, мой тезка и непререкаемый авторитет Костик, сын нашего соседа Ильи Петровича.

Игра заканчивалась, как только из-за пруда на выгон выкатывалось стадо. Все разбирали свою скотину и расходились по домам. А вечером на выгоне начиналась улица. Так называлось наше деревенское вечернее гулянье под гармошку или балалайку с танцами, песнями и прибаутками. Про них я расскажу особо после того, как вспомню всех наших деревенских жителей.

* * *

Ряд домов вдоль выгона начинался сразу от Кренинского пруда с хаты двоюродного брата моего Отца Гаврила Ильича Левыкина. Наверное, эта хата была одной из самых бедных в нашей деревне. В начале тридцатых годов ее хозяин был уже очень старым и больным. К нему я питал очень нежные чувства, так как всегда он привечал меня ласковыми словами и развлекал сказками. Я часто ходил к нему их слушать. И с тех пор помню бедную картину его жизни. В доме всегда было холодно, а еда в обед, к которому меня сажали, была всегда постной и скудной. Хата Гаврила Ильича и усадьба с огородом стояли на начинающемся от деревни склоне, и земля была серой и тощей. Дожди смывали с нее живородящий слой, и урожаи картошки на ней были малыми. Скудным было хозяйство у Дяди Гаврюши. Сам он был в памятное мне время стар и немощен, а жена его Анна Ивановна была не то чтобы не работающей, а, скорее, неприспособленной к деревенской жизни. В молодости она жила в прислугах в городе и от крестьянской заботы и работы, наверное, успела отвыкнуть. Много времени у нее занимали деревенские пересуды. Она могла подолгу, например, засиживаться у нас или у других соседей. А старый ее супруг в это время ожидал ее на лавке в холодной хате. Я не склонен осуждать Анну Ивановну, так как ко мне она была очень добра, уважала и Маму мою, и Отца. Но хозяйкой она была все-таки нерадивой.

У Гаврила Ильича и Анны Ивановны было два сына – Дмитрий и Василий. Первого я никогда не видел. Он рано ушел из дома и практически с ним не имел никакой связи. В деревню не приезжал и отцу не помогал. Сам он устроился работать на железной дороге в Подмосковье. И слышал я, что накануне войны он работал на железнодорожной станции Болшево. А в годы войны был ее начальником.

Младшего сына, моего троюродного брата Василия, я знал хорошо. Он был сверстником моих старших братьев. Может быть, на два-три года постарше. Но учились они вместе в нашей бывшей приходской школе на Поповке. Ребята почему-то прозвали Ваську Наумом. Так всю жизнь чаще всего и называли его в нашей деревне. Характера он был балагуристого, в мать. Роста был высокого. Все затеи ребячьи шли от него.

Он в деревне стал и первым комсомольцем, и первым активистом новой колхозной жизни. Всю свою жизнь он прожил в деревне с перерывом на четыре года войны. Первым из своих сверстников он и женился, в восемнадцать лет. Я помню его шумную свадьбу. По дороге в свой дом с невестой он зашел к нам в дом. И моя Мама в укор за необдуманный шаг, помню, трепала его за уши, а он смеялся. Наверное, от своего счастья, которого не понимала моя мудрая Мама. Всю жизнь Наум с отцом и с матерью работали в колхозе и всю жизнь жили бедно. А из деревни, однако, не уходили, как это делали другие его сверстники и старший брат Дмитрий. Попытки уйти он предпринимал, но всякий раз быстро возвращался обратно в деревню. Первый брак был неудачным. Жена ушла, оставив ему сына. Женился вторично. Когда фронт подошел к деревне, ушел в Москву к брату Дмитрию и работал с ним на Ярославской железной дороге. На фронт не попал. Имел бронь. Но как только кончилась война, он сразу же вернулся в деревню. Соорудил на своей старой неудобной усадьбе домик наподобие полевого вагончика и прожил в нем до конца своих дней. По возвращении из Москвы стал первым послевоенным председателем колхоза «Красный путь». Вместе с другими односельчанами, вернувшимися из недалекой эвакуации, восстановил колхоз, который просуществовал до известного постановления об укрупнении хозяйств и был передан в структуру пригородного мценского совхоза «Волковский». К середине пятидесятых годов подросли дети – сын от первой и дочь от второй жены, которые устроили свою жизнь в городе Мценске, а отцовскую усадьбу теперь рассматривали как подсобное хозяйство, в котором отец и мать были бесплатной рабочей силой. Лет за десять до смерти Василий Гав-

рилович ослеп. Мне удалось повидать его в 1966 и 1982 годах во время кратковременных поездок в Орел. В последний приезд осенью 1982 года он удивил меня тем, что, будучи полностью слепым, узнал по голосу и меня, и сопровождавшего меня двоюродного брата моего – Александра Владимировича Ушакова.

Скажу в заключение о Василии Гавриловиче то, что он оказался почти единственным мужиком, сохранившим преданность своей родной деревне и земле. В эту землю он и ушел, когда жизнь его на ней закончилась. Почему он так поступил? Некоторые решили, что на другое он был неспособен. Но это неверно. Он освоил быстро железнодорожную профессию сцепщика и даже оказался на станции в числе передовых рабочих. Но как только закончилась война, его позвала к себе родная земля, и городские удобства не могли его удержать. Он вернулся к своему крестьянскому образу жизни. Его полевой вагончик и сегодня еще дымит своей печной трубой.

Таких людей в нашей русской деревне не так уж теперь много. Они долго кормили страну.

* * *

Хозяйкой следующего дома по левыкинскому выгону была женщина, которую в нашей деревне все называли ласковым именем Мариша. Почему ей оказывалось такое обращение, не знаю. Может быть, потому, что она и в почтенном возрасте оставалась красивой? Но красивой у нас в деревне была не она одна. Я вспоминаю ее женщиной еще и очень опрятно^ и строгой. Но счастья Бог ей не дал. Многие годы она была неизлечимо больна. Ударила, рассказывала, ее когда-то корова по ноге. И с тех пор ходила она, хромая, с забинтованной чистой холстиной ногой. Кто был ее первый муж, я не знаю. И в деревне про это ничего не говорили. Когда она овдовела, мне осталось тоже неизвестно. Остались с ней сиротами две девочки: старшая Катя и младшая, мне ровесница, Маня. Первая училась вместе с моей сестрой и была, как и мать, очень красива. Воздыхателей у нее было много. И среди них был мой двоюродный брат Семен Ушаков, будущий полный кавалер ордена Славы, танкист Великой Отечественной. Но Катя была необыкновенно гордой девушкой и никому в деревне не оставила никаких надежд. После окончания семилетки она уехала из деревни и в нее больше никогда не возвращалась. К старшей сестре потом уехала и младшая – Маня. И о ней я тоже ничего рассказать не могу.

А Мариша оставалась дома. Еще до отъезда дочерей приняла она во двор второго мужа. Станный это был мужик. Звали его Кузьмой, а вместо фамилии называли Купленным. Вроде как бы купила его для себя Мариша. А дядя Кузя не обижался. Прикидывался чудаком. Знал много прибауток.

Одну из них я запомнил. Она была сочинена им как эпиграмма на себя:

«Дядя Кузя – вошь на пузе,
А блоха на цепи
Кричит: „Кузя, отцепи”».

Откуда он пришел в нашу деревню, никто не знал. Но по хозяйству справлялся и дом держал в порядке. Рядом с домом Василия Гавриловича он был не так уж плох. И крыльцо у него было высокое. И внутри было все прибрано. И сад за домом был приличный. Работал дядя Кузя и в колхозе. Конюхом. И в лошадях знал толк. У него с Маришей родился сын, года на два помоложе меня. Звали его Гришкой. Но, как и у отца, у него было свое деревенское прозвище – Апишан. Мальчик когда-то так произносил слово «обезьяна». Так и остался он Апиша-ном, пока не ушел на войну. Малышом он был неотлучен с отцом и с колхозными

лошадьми. Верхом на них ездил так, как, кроме него, никто не умел: и на бочку, и обыкновенно, и стоя, и задом наперед, и рысью, и галопом. Мне приходилось гонять с ним колхозный табун в ночное. Трудно и опасно было мне ехать с ним рядом. Моя лошадь норовила не отстать от него и неслась за ним вскачь, Я рисковал слететь с нее вниз головой. Апишан это видел и спуску мне не давал. Ему, наверное, нравилось чувствовать свое превосходство надо мной, городским чистоплюем.

К концу войны Апишан подрос и был призван на фронт. С него он не вернулся. Так и не досталось ему радости, кроме той, которую мог дать ему дядя Кузя.

Сам же Кузьма Купленный с Маришей пережили оккупацию. У немцев он не служил и честь свою не запятнал. Когда они с Маришей померли, не знаю. Усадьба их так и осталась без хозяина. И сад погиб, и дом сгорел.

* * *

Дальше за усадьбой Мариши и Купленного стоял двор моего родного дяди, брата моего Отца – Бориса Ивановича Левыки-на. Здесь он обосновался после раздела с братьями. Рассказ о нем, о его сыновьях и дочерях будет особый. А сейчас мы, мысленно поприветствовав своего родственника, пройдем дальше, к дому нашего деревенского кузнеца Михаила Афанасьевича Левыкина. Перед его усадьбой две высокие и уже довольно старые ракиты. Хозяин устраивал на этих ракитах качели и позволял ими пользоваться всей деревенской детворе. Качался подолгу на них и я. Может быть, поэтому меня никогда не подводил мой вестибулярный аппарат. Качели были высокие, и мне кажется, что иногда случалось взлететь на них выше самих ракут и даже выше крыши дома хозяина. Наверное, насчет вестибулярного аппарата я преувеличил. Но зато с тех детских качелей я хорошо запомнил и дом Михаила Афанасьевича, и всю его большую семью, и нашу деревенскую кузню.

Сам кузнец не был похож на обычного крестьянина, так как труд у него был особый. Его орудиями были не плуг, не коса и не серп, а молот и наковальня.

Поэтому Михаил Афанасьевич выглядел больше рабочим человеком. Этому виду соответствовали и внешность, и речь, и манеры поведения. Профессию свою он унаследовал от отца, а тот, в свою очередь, наверное, продолжил ее от своих родителей. Я помню, что до образования колхоза кузня принадлежала лично Михаилу Афанасьевичу и располагалась на его усадьбе, за домом, в саду. Только потом руководство колхоза, обобществив его труд, место работы кузнеца перевело в общественный амбар на выгоне.

Дом кузнеца тоже отличался от соседских. Он был поставлен на фундаменте с высоким крыльцом-террасой. Внутри перегородками дом делился на горницу, две спальни и кухню. Типовой оставалась крестьянская русская печь. Населяла дом большая семья. Первая жена кузнеца оставила ему шестерых детей – трех сыновей и трех дочерей. Она умерла внезапно от заворота кишек. Дом остался без хозяйки, а дети – без матери. И пришлось Михаилу Афанасьевичу жениться второй раз. Новую жену он сосватал в соседней деревне Лопашино. Мать ее прозвали в той деревне Сосихой. Новая жена ни хорошей хозяйкой, ни матерью детям не стала, но типичной мачехой оказалась. К шестерым пасынкам и падчерицам она родила Михаилу Афанасьевичу четвертую дочь.

Его старшую дочь звали Анной. Говорю «звали», так как не знаю, жива ли она сейчас. По моим предположениям, ей теперь могло бы быть уже и за восемьдесят. Она была ровесницей моих старших братьев. Эту дочь можно представить просто: она была красавицей. Описать ее красоту я не могу, так как очень много времени прошло с тех пор, когда, глядя на эту девушку, я впервые оказался способен воспринять само понятие женской красоты. Вообще-то, у кузнеца все дети были красивы.

Но Нюра была красавицей и среди них, и во всей деревне. На ее красоту, как мне тогда казалось, можно было любоваться только тайно, из укрытия. Ближе подойти было нельзя, потому что перед ней не оставалось никаких шансов сохранить спокойствие и скрыть смущение и растерянность от своей собственной заурядности. Не случайно, наверное, женихов для Нюры не только в нашей деревне, но и во всей округе не оказалось. Но не этот, конечно, факт, стал причиной ее отъезда из деревни в Москву. Жизнь складывалась так, что надо было искать счастья на стороне. Семья, несмотря на уникальность профессии отца и высокое его мастерство, жила бедно. В условиях обобществленного труда профессиональное мастерство и даже высокая производительность не могли реализоваться в личный капитал или богатство. Жизнь в это время равняла всех трудоднем. А этим трудоднем, увы, накормить такую семью, какая была у кузнеца, было невозможно. Нюра из отцовского дома, да и из деревни, ушла от бедности. Казалось, что ее красота будет недоступна человеку обыкновенному. А вышло наоборот. В Москве замуж она вышла за какого-то плешивого альфонса не первой молодости и не первой женитьбы. Приезжал он с Нюрой раза два в деревню. По-моему, наша деревенская общественность признала в нем проходимца. Жизнь у старшей дочери кузнеца Анны Михайловны сложилась весьма-весьма заурядная, красота ей счастья не принесла. С деревней и с отцом связь она утратила еще перед войной.

Следующим по возрасту шел сын Григорий. Он тоже довольно скоро вслед за старшей сестрой уехал в Москву и всю жизнь с перерывом на войну проработал в столичном такси. Но в памяти моей еще сохранились эпизоды работы этого молодого и тоже красивого парня с отцом в кузне. Роста он был невысокого, с пышной темно-русой шевелюрой, с лицом живым и выразительным. Большой физической силы в нем не было видно, но молотом он работал легко и ловко. Он мог бы заменить отца у наковальни, но предпочел московское такси. Здесь он тоже оказался приметным. Несколько раз мои знакомые и знакомые моих братьев спрашивали нас, а не нашим ли родственником является симпатичный шофер-таксист по фамилии Левыкин, которому они оказывались пассажирами. Самому же мне встретиться с Григорием Михайловичем не привелось. Что же касается вопроса о наших, возможно, родственных отношениях с семьей Михаила Афанасьевича, то он остается неясным, так же как это неясно и в отношении к другим соседям. Но, однако, скажу, что моя Мама была крестной матерью младшего сына кузнеца. Должен заметить, что по кумовству моя Мама занимала в деревне одно из первых мест. Она крестила и в Кренине, и в Левыкине.

После отъезда в Москву старших Анны и Григория остальные дети Михаила Афанасьевича оставались с ним в деревне довольно долго. На следующую по старшинству дочь Соню легли обязанности матери по отношению к младшим и домработницы по отношению к мачехе. При этом она должна была работать в колхозе. Поэтому Соне пришлось разделить судьбу Золушки, и отцовскую породу в ней разглядеть было труднее. Тяжелая работа и забота не красят женщину. И тем не менее ее звездный час должен был пробить, и добрая фея вернула ей все наследственные стати. За счастьем своим она также уехала в Москву.

В тот воображаемый день моей встречи на выгоне в доме Михаила Афанасьевича оставались трое детей от первого брака и уже подрастала младшая от второго. Теперь молотобойцем с ним в кузне работал Сергей, а в роли Золушки выступала Маня. На попечении младшего сына Кольки была домашняя скотина. Но и он уже время от времени принаравливался к кузнечному делу.

Сергей на глазах у соседей как-то вдруг превратился в богатыря-молотобойца. Рядом с ним в кузнице, у наковальни отец Михаил Афанасьевич выглядел шупленьким мужичком, которого, казалось бы, богатырь-сын невзначай, ненароком, от силушки молодецкой мог задеть своей кувалдой. Кузнец все время двигался под ней. Он одной левой рукой в щипцах держал поковку, а правой легко позвякивал молоточком. Раз-два по наковальне, раз

по поковке, по тому месту, куда молотобоец должен был, как по приказу, обрушить свой тяжелый молот.

А левой рукой он то и дело поворачивал поковку, подставляя под удар нужную сторону. Весело ковали кузнецы – отец и сын. Я не видел, долго наблюдая это соревнование мастеров, чтобы сын-молотобоец ударил не по тому месту или просто промахнулся. На глазах моих кусок железа превращается в подкову. Мастер окунал ее в бочку с водой, а оттуда не глядя точно отбрасывал ее в ящик с песком.

Все это я помню в подробностях потому, что мои друзья и я с ними подолгу крутились возле кузни, когда из нее раздавался веселый кузнечный перезвон. Иногда нам разрешали крутить вентиляционное колесо, раздувающее огонь в горне. Михаил Афанасьевич разрешал нам и покузнечить. А иногда нам удавалось пробраться в кузню, когда в ней отсутствовал хозяин. Тогда мы раздували загасавший горн, разогревали в нем какую-нибудь железяку и усердно начинали ее ковать, повторяя запомнившиеся движения мастеров. Кузнец иногда заставлял нас за этим занятием, но никогда не наказывал, если мы не совершали каких-либо опасных действий. Понимал старик, что нельзя человеку запрещать учиться труду и ремеслу. Никто из нас кузнецом не стал, но добровольные уроки в кузне нам запомнились на всю жизнь. Запомнился мне и добрый человек – кузнец Михаил Афанасьевич.

Кузнечное ремесло мог унаследовать у него его младший сын Николай. Он стал приноравливаться к этому делу, еще когда старший брат Сергей не уезжал из деревни. При нем Колька еще не готов был принять эстафету. Он был моим ровесником. А в наших кузнечных забавах он участвовал непременно, уже как консультант. Странной кличкой наградил его родной отец – Францем. Может быть, это было результатом его представления о каком-то образе недеревенского и даже нерусского изящного в своих манерах человека, которому соответствовала детская внешность его сына Кольки. Глядя на него, невозможно было подумывать, что он мог бы стать заменой своему старшему брату-молотобойцу. Худенький он был, легонький какой-то, совсем не по-деревенски, мальчик. Впрочем, может быть, это изящество объяснялось сиротской его судьбой. Просто недокормлен он был и не обласкан мачехой вместе со своей, на год младше, сестрой Маней. Им больше, чем старшим братьям и сестрам, пришлось испытать эту горькую долю. Все старшие уехали в Москву, а за них теперь и заступиться было некому. У мачехи родилась своя дочь. И Мане с Колькою добавились обязанности няnek. Не могу сказать, что отец не жалел их. Жалел, но изменить в доме ничего не мог. Ситуация-то сложилась обычная: мачеха оказалась сибаритствующей кормящей матерью, отец выколачивал молотком трудодни, на которые надо было кормить семью. А Мане и Кольке доставалось все остальное – не очень радостное, не очень теплое и не очень сытое.

Но Колька-Франц все-таки мог бы быть кузнецом. Стань он мастером, нашел бы себе молотобойца.

Молоточком-то он уже научился бить и по наковальне, и по поковкам, и в отцовском инструментарии разбирался, и порядок его применения знал. Но из безрадостного сиротского детства Колька-Франц ушел не в Москву, а на войну и оттуда не вернулся. Так и не суждено было ему стать кузнецом. Погиб на фронте и его брат-богатырь Сергей. В войну умер и сам кузнец Михаил Афанасьевич Левыкин. На нашем выгоне не осталось ни его дома, ни его кузни. Только по уцелевшим раkitам можно теперь определить место, где когда-то шумели вечерами наши деревенские улицы.

* * *

Проходя мимо дома Михаила Афанасьевича в то памятное утро приезда в Левыкино, мы не задержались около него. Хозяин уже звякал молотком в кузне, а домашних не было

видно ни на крыльце, ни в окнах. А у следующего дома останавливаться не хотелось вовсе. Несимпатичные здесь жили люди. Однако рассказать и о них надо.

Это был двор Егора Ивановича Левыкина, одного из трех братьев, которых в деревне называли Балыгами. Никто в деревне не мог объяснить значение этого слова. Но к трем братьям – Илье Ивановичу, Егору Ивановичу и Поликарпу Ивановичу оно прилипло прочно и звучанием своим, кажется, соответствовало особенностям их характера. Мне всегда казалось, что балыги – это люди, которые, по современным понятиям, неуважительно относятся к общим правилам поведения. Именно этим и отличались братья-балыги. Если бы тогда в деревне было в ходу слово хулиган, правонарушитель, то, может быть, в отношении к ним обошлись бы этим определением. Но не в ходу были такие слова. Да и не было у нас в деревне хулиганов и правонарушителей в современном понимании. А вот балыги были. Все трое характер поведения имели неукротимый и даже буйный. Но, как правило, они буйствовали в семье, а если и на улице, то только около своего дома и по отношению к своим женам, детям, к своему собственному имуществу. Но этого было достаточно, чтобы соседи их побаивались, особенно тогда, когда они находятся во хмелю. Бывало это чаще, чем у других, а следовательно, и чаще приходилось переживать похмелье. А отсюда вид у братьев чаще, чем у других, был хмурым, басурманским и опасным. Разбойниками они не были, но, случалось, вид имели разбойный. Вот я, как и, впрочем, и другие, решил, что они и есть балыги. Однажды я все-таки попытался узнать более точное значение этого слова. Конечно, обратился к известным словарям. Но ничего не нашел. Нет в них слова «балы-га». У Даля, однако, есть слово «балы» – пустые разговоры и производные от него «балазничать» или «балазничать». Иначе говоря, точить баласы или баласничать. Что и означало вести пустые разговоры. Весьма вероятно, что глагол «балыз-ничать» мог у нас произноситься – «балыж-ничать». А отсюда могло и появиться слово «балыга». Но тогда какое отношение оно могло иметь к нашим неукротимого нрава соседям? Может быть, эта кличка предназначена была не им, а их предку? Все три брата при крутом нраве были трудолюбивы. Это у них отнять было нельзя. Да и в неукротимости они были неодинаковы. Одного из них, например, очень легко и быстро укрощала моя Мама. Но о каждом из братьев я расскажу по порядку.

Итак, мы проходим мимо дома и подворья Егора Ивановича Левыкина. Сам хозяин давно уже помер. Теперь им был его сын Василий Егоров.

Жену его звали Анисья. Была она некрасивая, мужу покорная и работающая. С деревенскими своими подругами и соседками была она дружна, была такой же как и они песенницей. Говорили, что за свою невесту-вековуху Василий Егоров получил богатое приданое. В семье у них был один сын. Он был мне ровесник. Имя у него было Валентин, а звали его среди сверстников Амосей. Врагами мы с ним не были, но и друзьями тоже.

Впрочем, и другие ребята не дружили с ним. Рос он таким индивидуумом, увальнем. Но, видимо, несправедливы к нему мы были из-за негативного отношения к отцу. На войне Амося выполнил честно свой солдатский долг и вернулся с нее, отмеченный боевыми наградами. С отцом жить не стал и поселился во Мценске.

Тогда, в тридцатых, еще жили в доме Егора Ивановича его дочери – сестры Василия Егорова – Параша и Нюра, а старшую Евдокию брат выдал замуж за кренинского мужика – деревенского ловеласа – Ивана Сергеевича Панова. Оставшиеся незамужние сестры не ужились с братом. Они одна за другой уехали в Москву.

Что еще сказать про Василия Егорова? Был он человеком беспричинно злым. Говорил присвистывая. Соседом был недобрым. В дом к нему соседи были не вхожи, хотя гостей – богатых родственников Анисьи-принимал охотно. В колхозе работал исправно. Физически был силен.

Я в доме Василия Егорова никогда не был. Но в сад его лазил. Был у него заветный белый налив. Этот бдительно охраняемый запретный плод был настолько не похож на

все остальные деревенские белые наливывы, что мы, несмотря на страшную опасность быть жестоко наказанными, все-таки ухитрялись совершать свои набеги и в этот сад. Делалось это по команде нашего вождя Костика, сына Ильи Петрова. Он давал нам команду на штурм, когда хозяин выходил вечером перед сном на улицу к кузне. Он садился на бесколесную, ремонтируемую в кузне телегу и вместе с другими мужиками, куря самокрутку, наблюдал за танцующей молодежью. Мы же в это время, получив команду, шуровали у несчастной яблони и, нагрузившись за пазуху вдоволь, возвращались к кузне с докладом и трофеями к своему предводителю. Он откладывал балалайку и начинал угощать всех васьилеиоровым белым наливом, в том числе и самого хозяина. Мы были довольны. Но если бы хозяин застал нас на месте нашего ребячьего преступления, нам бы несдобровать. Бил он, чем попадая и не глядя. Совсем это был не смешной человек. Не случайно с ним не ужился единственный сын. Совсем страшная история произошла с ним после войны, в середине пятидесятих годов.

Однажды Василий Егоров пригласил в товарищи на бутылку знакомого мужика из соседней деревни Лихановка. Пригласил и убил. Забрал у убитого 15 или 20 рублей, а труп расчленил и закопал. Скрываться не стал. Преступление было раскрыто быстро. Был суд. Преступника признали психически больным и отправили на лечение. По излечении и раньше приговорного срока наказания вернулся в свой дом. Привел новую жену и прожил с ней до своей смерти.

Не был Василий Егоров ни бандитом, ни разбойником, ни даже хулиганом. А жила в нем какая-то злая червоточина, которая всю жизнь раздражала его психическое состояние, вызывая грубые и жестокие поступки и беспричинную озлобленность. Может быть, его надо было серьезно лечить? Но кто это знал?

* * *

Наконец, наши деревенские выселки вдоль выгона закончились, и мы подошли к историческому центру нашей деревни, к ее детинцу. Наверное, об этой части Левыкинской деревни, как поместье служилого человека Дмитрия Субочева, и шла речь в отказной грамоте 25 дня июня лета 1634.

С этого места к родному дому я уже спешил нетерпеливо. Вот-вот должна была состояться моя встреча с друзьями, которые меня в то утро и не ждали. Да и сейчас, когда я пишу эти строки, ко мне снова возвратилось это чувство волнительного нетерпения от скорой встречи с моей исчезнувшей родиной.

Я уже отмечал, что предки мои не случайно выбрали это место для поселения. Приоритет тогда отдавался не удобствам жизни, а потребностям несения боевой сторожевой службы. Деревню они, говоря по-военному, поставили на «господствующей высоте». Отсюда обзор в летнюю солнечную пору по горизонту был километров на десять-двенадцать. Я, например, в такую пору разглядывал наши деревенские ориентиры: церковь и вековые липы и клены с противоположной высокой точки над местностью с горы перед деревней Толмачево, с хутора моего дяди Василия Ильича, который стоял аж за городом Мценском. Расстояние между этими точками было более десяти километров. Для обеспечения обороны сторожевого поста здесь были когда-то произведены необходимые фортификационные работы.

Может быть, тогда, в дальние времена деревня выглядела как небольшая земляная крепостца. По южной окраине от дикого поля ее оберегали засека и ров, а с тыла была сделана земляная насыпь. Она была обвалована и обкопана глубокой канавой. Въезд в это оборонительное сооружение был с тыла в северной части через въездные ворота и глубокий проулок. Этот проулок можно угадать даже сейчас. А в тот день, когда мы с Мамой вновь встречались с летней деревней, этот проулок как преграду нам еще предстояло преодолеть.

Он разрезал центр деревни на левую и правую стороны. Справа от него, на возвышенности стояла усадьба Павла Семеновича Левыкина, а слева – сад брата моего Деда Ильи Стефановича Левыкина. Его на моей памяти называли дядей Илюшей. Я помню еще живым этого древнего старика. Сад у него был хороший, но уже очень старый. И очень старый и убогий у него был домишко. Стоял он перед садом по другую сторону дороги, поворачивающей перед центральным проулком налево в объезд деревни. Около дома дяди Илюши рос когда-то могучий клен. Я помню его золотые и багровые листья в пору осеннего цветения. За кленом стояла рига. А самого дядю Илюшу я все больше помню лежащим на печке, даже летом. Тепла ему тогда, видимо, уже не хватало. В молодости он был и высок, и приятен на вид. Об этом можно было догадываться и по выразительным чертам лица с живыми глазами, высоким лбом и широкой окладистой бородой. Но тогда с печи на меня глядел немощный человек, бормочущий какие-то непонятные мне слова. Иногда он все-таки слезал с печи, и я его начинал побаиваться. А он, обращаясь к дочерям и жене, бормотал: «Гля-ка, девка, гля-ка».

Жена дяди Илюши Татьяна Ивановна, или просто тетка Илюшина, была его моложе и жива еще была перед войной. На своих плечах она вынесла основную часть забот о своих дочерях и внуках. Дочерей своих Аграфену и Анну она вырастила здоровыми и красивыми. Они были ее радостью. С ними тетка Илюшина пережила и много лиха. Не выпало им обеим счастья. А впрочем, как знать?

Старшая – Аграфена, или Груня, а то и Грушатка, была и красива, и бедова, и, как сейчас говорят, необыкновенно сексуально-привлекательна. Мужики не могли сдержатъ своих вожаденных взглядов, когда она своей походкой проходила

3 1798 мимо них. Ну а когда Грушатка шла с молотбы с другими женщинами искупаться на пруд, то немногие сдерживались от соблазна полюбоваться ею из-за кустов. А жены их всегда были полны всяческих предположений. И был или не был какой грех, судили ее без всякого снисхождения на молодость и красоту. А красота ее, да и любовь обернулись против нее самой одинокой безмужней жизнью.

Первая любовь восемнадцатилетней Груни, быстро вспыхнув, так же быстро и погасла. Она превратилась в обычную бытовую драму.

Полюбил ее молодой красноармеец из части, стоявшей после Гражданской войны то ли во Мценске, то ли где-то в другом месте, недалеко от нашей деревни. Наверное, ходил солдат на левыкинские вечеринки. Звали его Никитой. А родом, говорят, он был откуда-то из-под Курска. Завлекла его Грунина красота, и посватал он ее за себя, как только пришла пора демобилизации. Посватал и увез к себе, в свою курскую деревню. Очень мало после этого прошло времени, и вдруг вернулась девушка восвояси, в отцовский дом. Не ужилась в чужой деревне, с чужой родней. А вернулась-то уже не просто так, а с приплодом в подоле. Родила она от Никиты дочь Зинаиду. С тех пор и не видела она Никиту, и Зине не привелось даже посмотреть на своего отца. Забот прибавилось бабке Татьяне Ивановне. А Груша стала еще краше. Ее ждала новая любовь. Но если первая окончилась драмой, то вторая – трагедией.

Ухажеров у молодой разведенной женщины теперь стало намного больше. А допустила она к себе одного. Полюбился ей сын нашего соседа, Ивана Митриева, Поликан. За их любовью со злой ревностью следил кренинский Мишка Панов, парень жуликоватый и подлый, внешностью своей отвратительный, какой-то корявый и грязный. Выследил однажды влюбленную пару злодей и подло в спину пырнул Поликана ножом. Да и попал прямо в сердце. Страшная эта трагедия произошла в деревне давно. И после нее ничего подобного у нас не случалось. Поликана похоронили. Злодей Мишка Панов сбежал от возмездия. А виновницей случившегося на всю память у родственников и соседей о ее несчастном возлюбленном осталась Грушатка. Долго попрекали ее за эту смерть. Воспоминания о ней грели против нее злую неприязнь, выдаваемую за чувство жалости и печали по убиенному Поликану.

А жизнь брала свое, и чары Аграфены по-прежнему будоражили желания деревенских воздыхателей. Влюбился в нее другой женатый парень из деревни Кренино, Ванька Зенин. Тайну влюбленные сохранить не могли. Виновицу неотступно преследовала Ванькина жена. Сцены ревности одна за одной возникали на улице, у колодца, в поле. В доме дяди Илюши вдребезги разбивались стекла. Бывало, что преследовательница заставляла их на месте греховных занятий. Но любовь делала свое дело. Наконец, Ванькины родственники отправили его с семьей в далекое украинское Каменское на Днестре. Это село тогда вырастало в большой промышленный город, получивший название Днепропетровск. Я не исключаю, что и сам Иван Зенин в этом отъезде видел возможность убежать от неукротимой любви. А она оживала всякий раз, как только он возвращался в деревню на короткие отпускные побывки. Все начиналось сначала. В запретной любви родилась у Грушати второй дочка, Рая.

Только война окончательно прервала горький роман Груни и горемычного Ваньки Зенина. А дочери ее выросли на радость и утеху матери в ее старости. Их помогали ей растить бабушка Татьяна Ивановна и младшая сестра Анна, пока сама она не вышла замуж. А Груня перед неудачами не сдалась. Она всю жизнь сохраняла и свою красоту, и бедовость, и веселье в работе. Односельчане в течение не менее двадцати лет избирали ее своим депутатом в наш Кренинский сельский совет. А накануне войны и по ее окончании она была председателем Совета.

Помнится, как-то после войны она обратилась ко мне с просьбой сочинить письменное заявление в Верховный Совет РСФСР с просьбой об установлении ей персональной пенсии в связи с многолетней работой в составе Кренинского сельсовета. Я узнал тогда, что она избиралась и в состав Мценского Совета. Но на это заявление Груня ответа не получила, и, таким образом, законными льготами она не воспользовалась. Видимо, не поверили чиновники ее письму. А проверить не удосужились. Мало ли таких Аграфен было в наших колхозных российских деревнях!

Конец жизни, уже после войны, она провела в Москве у своих дочерей. Первой здесь обосновалась старшая, Зина. В этом приняли участие мои родители. Они помогли Зине устроиться на работу и в общежитие. А дальше Зина всего добилась сама. В сорок первом она добровольцем ушла на фронт. Всю войну, до Берлина прошла связисткой. С Победой и наградами вернулась в довоенное общежитие. Нашла свое счастье. Вышла замуж, получила квартиру и взяла к себе из деревни на попечение мать и младшую сестру.

У младшей сестры Аграфены, Анны Ильиничны, вышла иная судьба и сложилась иная жизнь. В отличие от своей бедовой и любвеобильной старшей сестры Нюра была «тихая, скромная и молчаливая». Простая деревенская девушка, она была человеком удивительно романтической натуры. Не случайно в нашем деревенском театре, в спектакле, который был поставлен в колхозном Народном доме, ей поручили роль несчастной, обманутой в любви девушки. Я до сих пор помню трогательную сцену этого спектакля, в которой Нюра искренне переживала свою роль покинутой соблазнителем молодой матери. Она сидела на сцене у колыбели и пела знакомую с детства всем присутствующим песню младенцу. Ее чувства были настолько искренними, что наш неискушенный и до того не знающий театра деревенский зритель, особенно женщины, вместе с ней утирали слезы.

У Нюры были не просто голубые глаза, а очень голубые глаза, как ясное июньское небо. Они не потускнели и в старости, несмотря на трудную жизнь.

Молодой, еще незамужней девушкой Нюра запомнилась мне в день нашего приезда в деревню в 1936 году. В тот год она вышла замуж за очень несимпатичного мне Ваську Шабана из деревни Ушаково. О его старшем брате сложилась у нас нехорошая репутация. Может быть, она тенью легла и на него. Но и сам он был уж очень груб и хамоват. Но внешности он был привлекательной. Скажу даже, был Васька красив. Вот и полюбила его наша

Нюра. А однажды, еще до их женитьбы я оказался свидетелем их любви. Было это в один из летних дней, на нашем колхозном току, во время молотьбы. В тот час в работе был обеденный перерыв. Все разошлись по домам. А Нюра оставалась на току сторожем. Наша ребячья ватага осталась с ней помогать сторожить вороха намолоченного зерна. И вдруг к нам появился Васька Шабан. И тут затеялась какая-то игра в свалку на соломе. Он тискал и мял нашу Нюру. И нам было весело. Но она вдруг вырвалась и побежала от него за одонок. Васька за ней. Мы тоже побежали. Нюра скрылась с Васькой за одонком. А я был первым бежавшим за ними. Когда я тоже завернул за одонок, то увидел то, чего никогда еще не видел. Васька, как мне показалось, грубо и непреклонно терзал бедную распластанную Нюру. Я хотел закричать. Но вдруг увидел, что она не сопротивлялась. Она покорно и только виновато смотрела на меня своими необыкновенно голубыми глазами. В них был и испуг, и боль, и смущение, и еще что-то непонятное мне. Так ничего и не поняв, я быстро убежал от них. Только много лет спустя я, наконец, догадался, что тогда произошло. А Нюра в то лето вышла за Ваську замуж. Это не изменило во мне антипатии к нему. Хотел было здесь употребить известную нашу пословицу: «Любовь зла...» Но вдруг опять понял, что был я неправ. Полюбила-то Нюра красавца. И только ей было знать цену своего возлюбленного. Двоих дочерей родила она с Васькой. И прожила бы с ним счастливо всю жизнь, не случись несчастья. Умер ее возлюбленный муж от наследственной скоротечной чахотки.

Рано овдовев, Нюра растила дочек одна. С ними пережила и лихую военную пору. После нее снова работала в колхозе. Когда дочери подросли, отправила их в Москву к племянницам. А сама оставалась в деревне. Жила в землянке, а потом соорудила домик. Когда дочери вышли замуж, то на лето привозили ей внуков. А зятья помогли ей построить новую избу из старых железнодорожных шпал. Обустроилась она тогда не на старом родовом месте, а на выгоне, на месте бывшей усадьбы моего дяди Бориса Ивановича. Когда жившая еще тогда моя тетка Елена Васильевна, бывшая хозяйка этой усадьбы, узнала об этом в Москве, то искренне возмущалась ее самоуправством. Чувство собственности в ней так и не угасло.

В 1966 году я посетил родные места. Вместе со своим сыном я прошел пешком через луг, поднялся на Поповку, постоял на погосте у родных могил и оттуда через деревню Кренино вышел на наш левыкинский выгон. Было еще утро. Ясное сентябрьское наше деревенское утро. И я сразу оказался перед домом Анны Ильиничны. Нас с сыном сопровождал мой двоюродный брат Александр Владимирович Ушаков. Он специально приехал из Орла и встретил нас во Мценске. Теперь он был подполковником, а когда-то в юности он ухаживал за Нюрой. Они были ровесники. И вот теперь она стояла перед нами старенькая, но с теми же небесно-голубыми и удивительно радостными глазами от неожиданной встречи. Мой брат-подполковник с откровенным намеком на свое превосходство и удачу в жизни пошутил, глядя на свою бывшую ухажерку. «Вот видишь, – проговорил он, – а ведь я предлагал тебе выходить за меня. Не захотела! Выбрала себе Шабана!»

На эту бестактную шутку Нюра не обиделась и с улыбкой ответила: «Такая уж у меня была судьба!» Она ни о чем не жалела.

* * *

Я далеко ушел в своих воспоминаниях о Нюре с того времени и места, когда в далеком тридцать девятом я встретил ее летним утром, идя со станции в день приезда из Москвы. Тогда сестры Илюшины вместе с матерью Татьяной Ивановной строили себе новый дом в своем старом саду. А до того, как он был готов, они с разрешения моих родителей жили в нашем пустующем доме.

Деревенская дорога в том месте, где мы встретили нашу Нюру, перед проулком уходила влево. Между усадьбой Егора Ивановича вдоль его вишен по канавам слева и вдоль сада

дяди Илюши она выходила на небольшую поляну, бывшую когда-то выгоном небольшого поместья мелкого помещика Фурсова. Мой рассказ об этом поместье будет связан с историей жизни двух братьев моего Отца. Сейчас я туда не пойду. Да и в 1939 году моя родня там уже не жила. Что было с ней, я расскажу особо. А тогда я спешил к моим друзьям. Они меня не ждали, а я очень спешил их увидеть.

Но прежде чем мы с Мамой ступили в сырой после дождя проулок, нас задержала встреча с обитателями усадьбы Павла Семеновича Левыкина, которая стояла на возвышении, справа от него. За этой усадьбой, сзади, через канаву уже начинался наш двор.

Семья Павла Семеновича была большая. Я, к сожалению, не помню его жены, но детей помню всех. Сыновей было четверо: Василий, Алексей, Николай и Иван. А дочерей двое: Варвара и Анна. Все они в начале тридцатых годов были уже взрослыми людьми. Все добровольно вступили в колхоз и добросовестно с отцом трудились в нем. В период коллективизации и раскулачивания все-таки какая-то частичная репрессия коснулась этой семьи. Хозяйство было признано зажиточным. Однако оно если и отличалось от других хозяйств, то только количеством здоровых и крепких сыновей и дочерей, которые умели работать не покладая рук. Глава семьи был угрюм, несловоохотлив и суров и по отношению к детям, и к колхозу, и к себе. Суровость и угрюмый нрав Павла Семеновича были причиной несправедливой неприязни к нему со стороны особенно так называемых деревенских низов. Это была реакция на удачливость трудолюбивого хозяина. Проще я бы это назвал завистью. Наверное, это в конце концов и привело к частичным репрессивным мерам по отношению к собственности Павла Семеновича. У него кроме обобществления лошадей отобрали еще и амбар. Это нехитрое сооружение, по решению правления колхоза, передвинули на выгон и разместили в нем колхозную кузню. Конечно, это обидело хозяина и его сыновей. Они как-то незаметно один за одним стали уходить из деревни. Дольше всех задержались в ней отец с двумя дочерьми и младший сын Иван. Последний мне запомнился более всех. Он дружил с моими братьями и часто бывал в нашем доме.

Они вместе учились. Их связывали и общие увлечения, и всяческие деревенские проделки. Ребята почему-то почтительно величали друга по имени и отчеству – Иваном Павловичем. Он был заикой, но его физический недостаток как-то подчеркивал хорошие качества этого парня. Он не вызывал ни недобрых насмешек, ни снисходительного сочувствия. Казалось, что Иван Павлович заикался как-то легко и весело. Это как бы усиливало, подчеркивало его оптимистическую натуру. Такой же общительной и веселой была и его старшая сестра Варвара. И она тоже заикалась. А младшая сестра Анна была потише, понезаметнее и поскромнее.

Все дети у Павла Семеновича были трудолюбивы. Большую пользу они могли бы принести своему колхозу. Но не удержал он их своими перспективами. И ушли они, бросив и дом, и сад свой, в котором, я помню, тоже был заветный белый налив, тоже предмет наших набегов. В эту вспоминаемую весну сад на усадьбе Павла Семеновича цвел без хозяев. Цвел буйным цветом, обещая щедрый урожай. А окна дома были забиты крест-накрест досками. Некому было в это лето караулить сад и тот заветный палсеменовский белый налив. Мне кажется, что в то лето мы оставили его в покое. Было не интересно нападать на беззащитное дерево.

Не с кем было поздороваться возле брошенного дома. Оглядывая усадьбу в надежде все-таки кого-нибудь увидеть, я вдруг обратил внимание на остатки сгоревшего флигелька, примыкавшего к скотному двору. В нем жила странная старуха Яклиха. Кем она доводилась Павлу Семеновичу, я не знаю. Не знаю я и ее имени. Все звали ее Яклихой по отчеству (Яковлевна). Была она очень стара. При жизни ее мы, малые ребята, очень боялись встреч с ней. Она была неухожена, немывта и нечесана и, пытаясь говорить, издавала какие-то нечленораздельные звуки. Помню, что все это нас пугало, будто бы мы встретились с Бабой-ягой.

Павел Семенович не обнаруживал к ней какой-либо чуткости. А родственницей какой-то она ему все-таки была. Может быть, даже тещей. Прошедшей перед нашим приездом зимой Яклиха сгорела в своем флигельке. Пожар по неизвестной причине произошел ночью, и потушить его не успели, да и нечем было его тушить. Старуха сгорела, и никто не пожалел и не поплакал над ее гробом. Унесла она с собой свою тайну. Говорили, однако, что в молодости Яклиха была известной красавицей, любви и расположения которой добивались благородные мужчины из мценского уездного дворянского общества. Но как она в конце концов оказалась во флигеле около скотного двора? Почему жизнь так изуродовала ее красоту? Почему так равнодушны были к ней ее близкие? Сейчас ответить на эти вопросы некому.

* * *

Совсем не длинная была деревенская дорога вдоль выгона. Всего каких-нибудь двести метров от Кренинского пруда до дома Павла Семеновича Левыкина, который в начале проулка стоял как сторожевой пост при входе в исторический центр деревни. Не длинна дорога, а пройти ее быстро было невозможно. Во-первых, потому, что Мама в отличие от меня не торопилась. Цель наша была уже очень близка, и у нее были свои мысли об ожидаемом. А во-вторых, как же можно было не остановиться возле приветствовавших тебя какжданного гостя соседей? И как было не ответить на эти приветствия и вопросы: «А не видели ли наших?», «А не собираются ли они в деревню?», «А что слышно насчет войны?» Последний вопрос всерьез волновал тогда моих земляков.

Ну а в-третьих, когда бы я мог иметь возможность представить моим читателям своих деревенских соседей, рассказать то, что я о них знаю?

Собственно, ведь в этом и состоит главная цель моих воспоминаний. Куда же торопиться?

За этими рассуждениями мы и продолжаем наш памятный путь и въезжаем в проулок. Он не длинен. Метров примерно в пятьдесят между усадьбами Илюшиных и Павла Семенова. Над ним сплелись кроны посаженных слева и справа черемух так, что неба было не видно. Поэтому здесь летом всегда было сыро и темно, а в жару прохладно. В мокрую погоду, весной и осенью, да и в дождливое лето он становился непроходимым. Густая черноземная грязь на дне этого ущелья никогда не просыхала. Словом, проулок был последним препятствием, которое надо было преодолеть с трудом, чтобы войти в центр деревни, некогда, в далекие века, являющейся земляным фортом обороны на левом фланге города-крепости Мценска. Других препятствий, кроме жидкой грязи после дождя, на нашем пути уже не было. И мы, выйдя из-под свода зеленых ветвей проулка, вдруг оказались под высоким голубым куполом неба. Как из преисподней мы выехали на свет Божий.

Внутренняя структура центра деревни в новейшее время, я думаю, в принципе, сохранилась в прошлых очертаниях рубежей, канав и проезжей улицы. Деревня когда-то организовалась вокруг или, точнее, около единственного колодца. Он связывал ее воедино.

На небольшой площади примерно сто на сто саженой располагались компактно все ее дворы. С водой у нас было плохо. Долго и упорно наши мужики искали другие источники.

Но вода в них всегда оказывалась непригодной даже для скотины. Очень скоро вновь вырытые колодцы задохались, и вода в них просто протухала. Так и обходились одним колодцем и для людей, и для скота. Воды в нем хватало на всех, и была она чистой, холодной и вкусной. Водопоями, правда, служили еще два деревенских пруда.

Мама всегда говорила, живя в Москве, что лучше чая, чем с водой из нашего колодца, она никогда не пивала. Он и по сию пору цел. Я его видел в восьмидесятом году. Только не увидел я уже тогда вокруг него нашей деревни.

Но в то безмятежное, довоенное солнечное июньское утро нашего приезда деревня еще дымила почти всеми трубами. Все жители в этот час были еще дома, заканчивали завтрак и собирались в поле. А около правления колхоза председатель с бригадирами громко обсуждали какую-то сенокосную проблему.

Первыми наше неожиданное появление на центральном деревенском пятачке заметили обитатели старинной усадьбы братьев Балыг. Она располагалась сразу двумя дворами слева при выезде из проулка. Это были дворы двух братьев Ильи Иванова и Поликарпа Иванова.

За усадьбой Балыг не отделенная от нее ни канавой, ни плетнем начиналась усадьба Кугуев. Так прозывали в деревне двух братьев Левыкиных – Ивана Митриева и Сергея Митриева.

По правую сторону центральной деревенской площади (скорее, площадки, пятачка) располагалась другая группа дворов. Сразу за задами усадьбы Павла Семеновича, через канаву, располагались дворы двух семейных кланов: двор моих предков и двор двух братьев Сергея и Ильи Петровичей Левыкиных. Может быть, предки моего Отца и этих двух братьев были родственниками, так как их усадьбы не были разделены какой-либо обозначенной границей. Сады на них состояли из общего порядка деревьев. Общей была и защита сада по его краям в виде вишневых и сливовых кулис. На западном краю деревни располагалась усадьба самых зажиточных хозяев – двух братьев Дмитрия и Алексея Яковлевичей Левыкиных.

Перед коллективизацией эти братья разделились, и, до тех пор пока не наступило раскулачивание, они жили в разных домах. С образованием колхоза «Красный путь» в кирпичном доме

Алексея Яковлева расположилось его правление. А в доме Дмитрия Яковлева – колхозные детские ясли.

За исторические пределы деревни в конце двадцатых – начале тридцатых годов на ее юго-западный край, за усадьбу двух братьев-богачей вышли и построились на новом месте Илья Петров Левыкин и братья другого семейного клана – Сергей Николаев и Алексей Николаев Левыкины по кличке Клыки.

Все усадьбы в этой части деревни были накрыты, как общей крышей, ветвями старых, разросшихся яблоневых садов, цветением которых так приятно было любоваться с дальних подходов в весеннюю пору.

Вторым организующим центром деревни был уже много раз упомянутый мною проулок. Его можно было бы назвать и улицей, но уж больно короток он был, не более полутора метров от северного въезда до южного выхода на лазы, за задами деревни. Он разрезал деревню на правую и левую стороны, через ее центральную площадку, между усадьбой Ивана Митреева и нашей, и выходил на зады к деревенским ригам, токам, ометам и скирдам. За ними деревня кончалась, а проулок превращался в дорогу, которая через орешниковые заросли, называемые ко-лычками, выходила через неглубокий ровик – остаток древнего укрепления – на широкую поляну, именуемую лазами. А за лазами опять были орешниковые кусты-засека.

Колычки, Лазы, Засека как названия деревенских окраин теперь не имели их функционального предназначения, как это было в далекое смутное время. В новое время они превратились в имена собственные.

На лазах наша деревенская дорога расходилась на три стороны. Влево, мимо Шуменок она уходила к деревням Каменка и Лопашино. Каменка стоит и сейчас на Симферопольском шоссе. А вот стоит ли на своем месте Лопашино, я не знаю. Может быть, как и в пропавшем Левыкине, там сохранилось несколько домов. А ведь она когда-то видела Льва Николаевича Толстого. В голодные 1891—1893 годы здесь он устраивал столовую для крестьян. За Лопashiном начинались земли его родового имения, центром которого было село Никольское-Вяземское. В детстве с друзьями я совершал путешествия в эту сторону, через Лопаш-

шино, мимо большой деревни Каневки, к Графскому лесу и дальше, к деревне Гринево с большим графским яблоневым садом. Тогда этот сад был еще жив и плодоносил. А Графский лес в нашем просторечии именовался Графинским (Грахвинским). Сюда наша деревенская молодежь ходила гулять на Троицин день. А мужики испокон веков ездили в ту сторону, в село Никольское, на мельницу. По дороге сюда случались и встречи с самим Графом.

Хотя Никольское территориально располагалось за границей Мценского уезда и Орловской губернии, путь к нему был короче от нашей подомценской железнодорожной станции Бастыево, чем от Черни. И когда Лев Николаевич совершал поездки в здешнее свое имение, он сходил с поезда на нашей станции. Не случайно бастыевские старики долго хранили в памяти встречи с ним.

В их рассказах меня в детстве удивляла одна замеченная ими деталь в характере знатного и богатого земляка. Он никогда не давал подвернувшемуся мужику, помогавшему ему поднести багаж к встречавшей его подводе, более пятака.

А какой-нибудь приказчик из здешних мест, приезжавший на побывку, случалось, что только «из-за уважения» давал по четвертаку.

Где-то на дороге в Никольское девчонкой повстречала Толстого моя Мама. Однажды ее отец мой дед Илья Михайлович Ушаков взял ее с собой на мельницу, в Никольское. Ехали по дороге уже за Лопатином. Отец дремал. А Мама вдруг увидела навстречу шедшего странного старика с бородой и в длинной холщевой рубаше. Она испугалась и толкнула отца. Старик показался ей похожим на известного в наших окрестностях бродячего мужика по кличке Упырь. «Пап, – сказала она, – гляди – Упырь идет». А мой дед, так рассказывала мне Мама, прикрикнул на нее строго: «Молчи, дура, это Граф!» – и, проворно соскочив с телеги, поклонился ему в пояс.

Как Графа мой дед знал Толстого. Но знал ли он его как писателя?

Дед мой был уроженец деревни Ушаково. А дорога из нашего Левыкина туда была недлинная, всего с версту, не более. На лазах надо было повернуть направо. За небольшим полем ржи деревня эта была – рукой подать. За этой деревней где-то в овражных перелесках скрывались еще две маленькие деревеньки Холодково и Бельково. В деревне Бельково родилась моя бабушка Варвара Ивановна, в девичестве Горбатова. Может быть, она была родственницей известного советского генерала Горбатова. Он ведь был уроженцем наших мест. Всего раза два проезжал я мимо этих деревенок по дороге во Мценск мимо совхоза «Октябрь», бывшей экономии некоего землевладельца Алисова. Проезжал, но даже не останавливался.

А вот в деревне Звягино не только я, но и многие наши деревенские вообще никогда не были. К ней дорога от нашей деревни, от лаз шла прямо, строго на юг. Деревня четко обозначалась на горизонте островерхими кронами тополей, кущами садов. Видны были зады ее усадеб.

Всего пять-шесть верст было до этой деревни. Но я тоже никогда в ней не был. Не бывали у нас и звягинские. Мы, ребята, не ходили туда потому, что на пути был глубокий лог, в котором якобы водились волки. И нас страшили опасностью встреч с ними. А может быть, у взрослых сохранялись унаследованные от предков остатки настороженности и страха с той южной, разбойной стороны. Ведь именно в эту сторону угоняли в полон в семнадцатом и даже, случалось, в восемнадцатом веках наших русских жен и дочерей крымчане. Именно в ту сторону была развернута своей засечной земляной боевой фортификацией наша деревня Левыкино. Зря в ту сторону привыкли не ходить с давних времен.

Но, впрочем, в наше время была и другая причина. Редко когда у звягинских обитателей возникала потребность проехать через нашу деревню. Во Мценск и в Никольское у них была своя дорога. А нашим в Звягине делать было нечего. Невест для женихов там в деревне не

высватывали и своих туда не отдавали. За этой деревней как бы заканчивался доступный нам мир. Для меня за Звягином начиналась неведомая сторона.

После войны в Звягино не вернулся ни один человек. Долго еще цвели и плодоносили звягинские сады, но хозяева не возвращались сюда, чтобы освободить от бремени плодов гнущиеся ветви яблонь и груш. Говорили, однако, что долгое время туда наезжали предприимчивые заготовители-задарма, на личных автомобилях с прицепами. Не они ли потом торговали на московских рынках звягинской антоновкой?

* * *

Боевое место выбрали предки для нашей деревни под Баклановым лесом. Не особенно удобным оно было для жизни, но очень подходяще для выполнения поставленной государством задачи охраны его границы. Здесь, на господствующей высоте и день был длиннее, и обзор широк.

Отсюда служилые люди раньше встречали солнце, всходившее из-за соседней горы со стороны древнего русского стана Чернь, и позже прощались с ним на закате, где-то за городом Мценском. Длинным был в нашей деревне летний день и в колхозные годы. Его хватало на выполнение всех видов работ летней страды. Жизнь в эту пору начиналась в предрассветные сумерки. Солнце еще не показывалось из-за горы, когда матери будили своих старших дочерей или сыновей и отправляли их стеречь коров «на росу». Невеселое это было дело для детворы – просыпаться ни свет ни заря. Но зато с росы они возвращались с удивительно интересными рассказами о встрече восходящего солнца, о различных приключениях и играх, которым они отдавались вволю. Играли в чехарду, в горелки и особенно в лапту. Но были и тихие игры – в ножички, в камушки. В камушки сейчас уже никто не играет. А тогда, в далекую деревенскую пору детства этой игрой забавлялись дети, особенно в дождливую погоду. Забирались куда-нибудь под сарай, под скирду или под густое дерево, скрывающее от дождя, расстилали где-нибудь старенькое пальтишко и начинали эту нехитрую, но требующую ловкости игру. Игра состояла из нескольких комплексов упражнений рукой с пятью камушками. Четыре раскладывались на подстилке поочередно по одному, по два и всей кучкой, а один подбрасывался невысоко над ними. И пока он взлетал, надо было поочередно схватить рукой разложенные камушки и успеть поймать подброшенный. Кто быстрее всех выполнит упражнения, тот признавался победителем. Нехитрая это была игра. Но она требовала мгновенной ловкости, тренировала быструю реакцию и терпение. Выигрывал тот, кто способен был сконцентрировать свое внимание и оттренировать движение руки в очень ограниченном пространстве и времени.

Дети дружно играли, а коровки спокойно паслись на свежей росистой траве, не тревожимые мухами и прочими насекомыми, а особенно оводами, которые к этому времени еще не успели пробудиться. Часам к семи-восьми утра коровок пригоняли домой. Родители уже хлопотали по хозяйству. Начиналась утренняя дойка. А утренние, росные пастушки забирались куда-нибудь в укромное место, под амбар и досыпали до завтрака, которым их, как правило, кормили бабушки. А родители отправлялись в поле. Скотину после дойки выгоняли снова на ближайший выпас, а к началу полуденного зноя или загоняли куда-нибудь в тень, под лесок или пригоняли домой в стойло до обеда. К обеду, часов в двенадцать, работы в поле прерывались до тех пор, пока солнце не перевалит в сторону заката. Женщины снова доили коров, управлялись по хозяйству, на огороде. Потом обедали. Мужчины тоже были заняты каким-то делом. Точили и отбивали косы, чинили инвентарь. А потом, после короткого отдыха вновь отправлялись в поле и не возвращались оттуда уже до вечера. Скотину после обеда тоже выгоняли в поле до вечера. Для пастьбы скота деревня нанимала пастухов. Как правило, к нам пастухи приходили откуда-то из рязанских земель. Они были мастерами

этого дела, и поэтому их труд щедро оплачивался и деньгами, и прокормом. Кормили пастухов поочередно неделями в каждом доме. Обед для них готовили отдельно и не так, как для себя. Кормили пастухов всегда с мясом, в чем себе в эту пору обычно отказывали, пробавляясь квасом, картошкой и молоком с хлебом.

Из рабочих пор мне особенно запомнились пора сенокосная и жатва с молотьюбой. В эти поры все от мала до велика были или на лугу, или в поле, или на току. В домах оставались только очень старые люди и очень малые дети» Для взрослых это была пора интенсивной физической работы, с полным напряжением сил. А для детворы – пора самых интересных развлечений и необычных встреч с природой. Но детям находили и хозяйственные занятия. Они приносили родителям в поле еду, холодную воду, квас. Когда старшие принимались за еду, то в руках детей оказывались косы, грабли и вилы, которыми они пробовали делать то, что, как им казалось, легко и непринужденно делали взрослые мужчины и женщины.

Это были первые самостоятельные уроки постижения искусства крестьянского труда. Ему дети учились каждый день, начиная с предрассветной «росы» и кончая вечерней встречей стада. Сложился естественный набор детских работ, которые выполнялись не только без принуждения, но и с увлечением, забавой и удовольствием. Среди них такие, как утаптывание сена при складывании стогов, работа верхом на лошади на волокушках. Дети гоняли лошадей на водопой и в ночное. А бывали работы и потруднее. Подростков, например, нередко посылали двоить или троить пары. Работа за плугом требовала и силенки, и умения. А ребятам помоложе доставалась работа полегче – скародить пашню. Не по выбору, а уже по принуждению приходилось ходить на прополку. Считалось, что это была женская работа, но доставалась она и детям. Она, конечно, удовольствия не доставляла, но за нее писали трудодни, впрочем, так же как и за работу на пашне.

А к жатве хлебов и молотьюбе деревня готовилась особо. Мужчины занимались ремонтом машин и инвентаря, а женщины на базаре в городе покупали по две пары лаптей. Эта обувь была наиболее удобна для работы в поле, по жнивью вязке снопов. К этому времени во Мценск на базар эту продукцию привозили возами из соседних мест. У нас самих лаптей не плели. Да и в лаптях не ходили.

А вот на жатву они как раз были хороши. Кроме лаптей, женщины шили себе белые фартуки и такие же белые нарукавники. Во все это они наряжались, выходя в поле. Перед этим заготавливались перевясла – скрученные из скошенных стеблей пшеницы, ржи и ячменя, жгуты для вязки снопов. С этими перевяслами за поясом фартука и с граблями женщины шеренгой шли вслед за косарями или за жнейками по скошенным валкам и точно размеренными движениями рук и ног через определенное количество шагов сгребали часть валка, ловко перехватывали ее на руки, связывали перевяслом своеобразным замком в сноп. Потом эти снопы крестцами по тринадцать снопов складывали в копны. В каждой копне было 52 снопа. Все было точно рассчитано. Копна вся укладывалась потом в два воза на обычную крестьянскую телегу при перевозке сжатого хлеба на тока. Этот простой технологический процесс жатвы и уборки урожая, отработанный в практике крестьянского труда уже в далекие времена, проходил с абсолютно минимальными потерями зерна. В колхозах, с приходом на поля комбайнов эту технологию заменил метод прямого комбайнирования. Машина обеспечивала быструю уборку на больших площадях. Но при этом увеличились потери. Машинная технология не учитывала особенностей полей, резких погодных перемен, сроков созревания и прочих заметных и незаметных переменных. Но вал господствовал, несмотря на потери. Хлеборобы-колхозники в новых поколениях забыли старую дедовскую технологию. Но наконец произошло чудо. Кто-то открыл или придумал новый так называемый отдельный способ уборки. И мы еще раз убедились, что «самое новое – это давно забытое старое».

Но вспоминаемые мной работы в нашей деревне велись еще старым, проверенным раздельным способом. Все шло одно за другим.

А в конце рабочего дня на вязке снопов все наши деревенские бабы, и старые, и молодые, дружной ватагой с граблями на плече возвращались с поля в деревню. И на всю округу разносилась песня. Чаще всего они пели «Скакал казак через долины» или «Хазбулат удалой». Пели дружно, полными голосами. А усталости будто не бывало. Песни были длинные, и их хватало на всю дорогу. Конец допевали уже в деревне, расходясь по домам. Здесь их ждали уже другие домашние дела. К этому времени с другого конца на деревенский выгон так же дружно возвращалось стадо. Впереди его всегда бойко поспешала сквалыжная бодучая корова наших соседей по кличке Бырдя. Ее подлого нрава все боялись, несмотря на то, что перед ее передними ногами болталась колодка. Бырдя почти бегом врывается на выгон и так же быстро устремлялась к своему двору.

Мальчишки и девчонки, вышедшие на выгон встречать стадо и вдоволь наигравшись в лапту, разбирали своих буренок и овец и загоняли их в свои дворы. Выгон пустел. На дворах хозяйки звякали подойниками, громко дышали коровы, лакомясь заготовленной для них свежей травой. Иногда раздавались ласковые успокаивающие буренок материнские голоса: «Зорька-Зорька, Милка-Милка, Рябка-Рябка». Хозяйки похлопывали ласковыми шлепками своих кормилец, поглаживали их и все приговаривали и приговаривали ласково и тихо. А потом отовсюду стали раздаваться тугие звуки молочных дойных струй о пустой еще подойник: взык-взык. Ведра наполнялись теплым и пенистым парным молоком. Его ожидали дети.

Рабочий день кончался, в наступающих вечерних сумерках детей поили парным молоком, мыли им ноги и укладывали спать. Хозяева еще некоторое время сидели за самоварами, а молодежь выходила на деревенскую улицу. Там усталости уж как не бывало. Начинались игры, а потом танцы.

Танцевали без усталости. Кавалеров хватало. Невест-ухажерок тоже. Расходились почти перед рассветом. Кто-то парочками скрывался в кустах. Оттуда еще долго раздавались то приглушенный смех, то тихое воркование, то громкие вздохи и шорох, то звуки поцелуев, а то и слабая, теряющая сопротивление мольба: «Что ты делаешь? Пусти, не надо». Наконец и здесь затихало – то ли согласиём, то ли окончательным приговором: «Нет! И не думай, и не мысли!» А в ответ беззлобное и обессиленное: «У, дура!» Становилось совсем тихо. Только где-то далеко за деревней слышались еще голоса уходивших восвояси, несолоно хлебавши на нашей деревенской улице пар-ней-женихов из соседних деревень.

Эх вспомни, милка дорогая,
Как начинали мы гулять.

Пели почему-то удалыми голосами отвергнутые в любви нашими невестами лопашинские или лихановские женихи.

Всегда я шел к тебе веселый,
А ты ложила рано спать.

В деревне наконец устанавливалась полная тишина – не более чем на час до наступления нового страдного дня. На востоке уже серело небо. А где-то уже хлопнула дверь и звякнули пустые ведра.

Казалось тогда, что жизнь здесь никогда не остановится. Прочны были ее корни, произраставшие из глубины веков на этом обороненном от врагов клочке земли под высоким и безбрежным голубым небом.

* * *

А жизнь в деревне могла продолжаться, покуда на ее земле еще оставались люди, для которых не было иных занятий, иного дела, кроме хлеборобского труда, завещанного предками. По-разному они преуспевали в нем, но другого было не дано.

На старых усадьбах стояли их дворы. Привычными заботами начинался и заканчивался каждый их божий день. Я уже назвал имена хозяев усадеб в коренной части деревни. А теперь расскажу об их семьях и о судьбе людской, выпавшей на их долю. Расскажу так, как я знаю сам.

Как только мы въехали бы или вошли бы в центр деревни из проулка, то слева увидели бы две небольшие хаты с примыкавшими к ним скотными дворами. Когда-то это была одна усадьба, из которой и вышли три уже названные мной Балыги. Егора Ивановича я уже представил на выгоне. А здесь жили Илья и Поликарп Ивановичи Левыкины. Второго я знал лично, а о первом помню только скупые характеристики моих родителей. Про Илью Иванова мой Отец говорил, что если во хмелю ему не с кем было подраться, то он «готов был подраться с землей». Очень буйного, говорят, и своенравного он был характера. Но хозяином был умелым. При разделе с братьями ему досталась лучшая часть усадьбы с хорошим домом и садом. От брата он отгородил ее глубокой канавой. Весной и осенью в ней было много воды. Я помню эту канаву. Для меня в моем раннем детстве она была непреодолима. Братья через канаву тоже не общались.

Жену себе Илья Иванов привел откуда-то из дальней деревни. Говорят, что она была красивой молодайкой. Звали ее Анной Фроловной. А в тот момент, с которого помню ее я, в ее красивый вид в молодости трудно было поверить. Теперь ее звали просто Хролихой.

Лицо ее было дряблым, старческим, с печальными глазами и вывернутыми вокруг них красными веками. Также вывернутыми были и ее губы. Одежда на ней была ветхая настолько, что она не отличалась от забредавших в нашу деревню за подаянием нищенок. Жизнь ее была тяжела и несчастна. На лице ее никогда не было улыбки. Оно было плаксиво. Плаксиво звучала и ее речь. Говорили, что муж часто и жестоко ее бил. И в то же время муж был мужем, отцом и хозяином. И дом стоял, и хозяйство было, и известный достаток тоже был. Но рано овдовела Анна Фроловна с тремя дочерьми – Парашей, Татьяной и Евдокией. Были эти дочери одна к одной. Не красавицы, но симпатичные. Крупные, но ладные. Кровь с молоком, словно налитые. Физически были крепкими и трудолюбивыми. А средняя, Татьяна, была песенница и плясунья на всю деревню. Это она, возвращаясь с поля в бабьей ватаге, с граблями на плече, запевала на всю округу: «Скакал казак через долины, через маньчжурские края». А у кузни танцевала без останову. Младшая – Евдокия, Дунькой ее звали – была на старших характером не похожа. Те были спокойные, покладистые и дружелюбные. А Дунька какая-то взбалмошная и строптивая грубиянка. Видимо, от отца унаследовала басурманский характер. А может быть, была такой оттого, что острее, чем старшие сестры, переживала свое сиротство. Помню я, как однажды днем около своего дома ни с того ни с сего Дунька заголосила истошно и громко. Голосила одна. Сестры двоюродные через канаву кинулись к ней. Стали успокаивать, гладить ее и ласкать. А потом вдруг и сами заголосили от сочувствия к ее сиротской доле.

Была Дунька резка в движениях и в суждениях. Некоторые в деревне считали, что она немножко не в своем уме. Были и для этого основания. Неуравновешенная психика была от отца.

Между прочим, у всех троих братьев Балыг один из сыновей или дочерей получал почему-то наибольшую долю этого наследства психической неукротимости и беспричинного буйства. Но я слышал, что нашелся-таки человек, который укротил Дунькину строп-

тивость. И стала она покорной и любящей женой и ласковой матерью. Рассказывали мне об этом ее двоюродные сестры.

Старшие дочери одна за одной ушли из деревни и устроили свою жизнь – одна в Москве, другая на Косой горе под Тулой, а третья неподалеку, кажется, в Черни.

Прасковья, или Параша, долго поддерживала связь с нашей семьей. Для нее моя Мама была покровительницей и попечительницей в ее первых самостоятельных шагах в Москве, сначала как прислуги в чужом доме, а потом работницы Чулочной фабрики имени Ногина в Марьиной Роще. К ней Параша привела на показ и для совета своего суженого Андрея. С благословения Мама состоялась свадьба. С Андреем она прожила всю свою жизнь с перерывом на войну. Говорят, что в старости очень она стала похожа на свою старую мать Хролиху.

Жизнь у дочерей Анны Фроловны могла сложиться иначе, не приведи она в дом в качестве второго мужа довольно странного и неожиданного человека. Его звали Василием Михайловичем. А фамилия была Поляков. Приняла его к себе в дом вдова бездомного и беспаспортного, по сути дела, бродягу. Забрел он в наши края в конце Гражданской войны откуда-то из-за южной черты оседлости. Оказался в нем талант в ремесле деревенского живописца. Так Живописцем и прозвали его в деревне. Не у всех эта кличка понималась в буквальном смысле. Многие воспринимали ее как неспособность заняться нужным делом. Рисовал Живописец яркими красками любившиеся в деревнях лубочные картинки с лебедями, пышнотелыми красавицами и скромными малороссиянками среди садов или у колодца с коромыслами.

Пришедший в дом к Хролихе Василий Михайлович всю свою остальную жизнь прожил в деревне и уходить из нее никогда не собирался. Он вошел в ее каждодневный труд и повседневные заботы, но прибавки к семейному достоянию своим трудом, увы, не принес. Может быть, и оттого, что оказался безответственным романтиком. Став хозяином в доме Хролихи, он решил перестроить его по своему разумению. Убедил хозяйку продать добротный дом на слом. А вместо него слепил из глины и соломы что-то вроде украинской хаты с земляным полом. Снаружи выбелил ее известкой, а внутри расписал своими рисунками. Эту хату я помню. Я был в ней и видел в ее стенах дыры с видом на белый свет. Никто не остановил перестройщика, и он очень быстро, без злого умысла довел хозяйство до ручки. Семья впала в бедность. Зато она увеличилась еще на двух человек. От него у Анны Фроловны в 1924 году родилась Антонида, а через два года – сын Мишка. Наверное, я не ошибусь, если назову эту семью самой голодной в нашей деревне.

Перед моими глазами при воспоминании об этих соседях всегда встает картина завтрака в этом доме. За столом семеро по лавкам. На столе чугуны картошки в мундире и горшок с кислушкой. Всем по аккуратному кусочку хлебушка. Хлеб был с добавками. До нового хлеба еще был месяц ожидания. А потом пили чай с сахаром. Перед каждым была Хролихой насыпана кучка сахара. Сахар был ржавого, коричневого цвета, неочищенный сырец. Сейчас этот сахар в цивилизованных зарубежных странах признан самым полезным для человеческого организма. А тогда и в нашей деревне, и в других он являл степень бедности. Я наблюдал за этим завтраком в ожидании Мисика (так звали Мишку) к нашим играм. Наблюдал и завидовал тому, как вкусно Мишка наслаждался этим сахаром. Он с неопишным удовольствием осторожно макал свой язык в свою кучку, еще до того как была съедена картошка и как в кружки был разлит чем-то заваренный кипятком. А мать награждала его подзатыльником за недозволенную поспешность к сладкому.

Я не знаю, когда умерла Хролиха. Накануне войны и она, и Василий Михайлович, и младшие – Тося и Мисик жили в своей обездоленной хате. Работали в колхозе. Перед войной Василий Михайлович приезжал в Москву и, как многие наши земляки, останавливался у нас. Он преподавал мне тогда урок рисования. Под его руководством я повторил один из

его традиционных пейзажей – весеннюю дорогу. Дорогу мы начертили с помощью линейки вдаль к горизонту, через мостик, со стоящей с боку нее березой и домиком. Рисовать я не научился ни у деревенского «живописца», ни в школе. Не было у меня для этого таланта. Но обозначать на рисунке перспективу Василий Михайлович меня научил.

Младшие дети Хролихи тоже в конце концов ушли из деревни. Тося устроилась где-то возле сестер, а Мисик после войны служил в погранвойсках, а после службы обосновался в Туле. Рассказывали, что он преуспел там и в материальном, и в общественном плане. Стал уважаемой личностью. Он забрал к себе из деревни отца. Анна Фроловна к этому времени умерла.

Мы долго считали Василия Михайловича Полякова человеком без роду и без племени. Но вдруг оказалось, что у него имелись родственники в Москве и это были довольно состоятельные люди. А еще они оказались евреями. Вот тут-то я и сделал запоздалое открытие – Василий-то Михайлович Поляков был чистейшей воды евреем. Но евреем со странной нашей деревенской судьбой. Удивил меня этот еврейский парадокс. Вопреки бытующим представлениям о еврейской предприимчивости, он оказался совсем с иными качествами. Какой интерес, какая причина привязали нашего еврея-живописца Василия Михайловича Полякова к нашей сермяжной деревне, я так и не выяснил. Еврейский парадокс остался необъясним.

Третьим братом Балыгой был Поликарп Иванович. Его-то я и знал, и помню очень хорошо. Человеком он в нашей деревне был необыкновенным. В молодости был призван на действительную службу вместе с моим родным дядей Михаилом Ильи-чем Ушаковым. Вместе они матросами плавали на «Святом Пантелеймоне». Дядя мой с тех пор был вовлечен в революционные дела. А Поликарпа Ивановича они как-то миновали стороной. Но матросское братство он сберегал в себе всю жизнь, и дядю моего звал не иначе как братишкой. Был матрос высок, строен, с правильными, мужественными, я бы сказал, суровыми чертами лица. Но человеком он был очень добрым.

На руке у него, конечно, был выколот якорь. А выше запястья тем же матросским способом написана святая матросская молитва: «Боже, храни моряка на воде, на суше и в огне». Мы, ребятишки, зачарованные этими молитвенными словами, неоднократно приставали к дяде Поликану, просили разъяснить, что значили эти слова. А он шутя отвечал: «Боже, храни моряка, Поликашу-дурака». Чаще всего он так шутил, пребывая в веселом хмельном состоянии.

Отслужив службу, Поликарп Иванович не сразу вернулся в деревню, а сначала оказался в Москве на заводе АМО. Здесь он к таланту смекалистого мастерового мужика приобрел несколько рабочих профессий слесаря, токаря, жестянщика, инструментальщика. Здесь он и нашел свою Анисью, рязанскую девушку, служившую в Москве в прислугах. Интересная из них получилась пара. Он ростом под два метра, а в плечах сажень. А она рядом с ним где-то под мышкой, а может быть, и даже ниже. Некоторое время жили они в рабочем бараке где-то в Ко-жухово. И остаться бы им в рядах московского рабочего класса, да сманила все-таки родная деревня.

При разделе Поликарпу Ивановичу досталась не лучшая часть отцовской усадьбы. Весь сад остался Илье Иванову. Я уже говорил, что от брата тот отгородил свой сад канавой. И дети Поликарпа могли полакомиться необыкновенно вкусным яб-лочком-аркадом, только воспользовавшись обычным нелегальным ребячьим способом. Мне кажется, что канава не только разделила усадьбы двух братьев, но и самих братьев. Они были только соседями. Родственных чувств между ними не было видно. От сада Поликарпу Ивановичу досталась одна огромная старая груша благородного сорта бергамот. Плодов она уже давала мало, да и не каждый год.

Зато прямо перед братовой канавой на территории Поликарпа росли частые молодые осинки, а в них водились грибы подосиновики.

И тут же перед осинками буйно рос хрен. Ни у кого в деревне не росло столько хрена, как здесь. Это была монополия Анисьи Ермолаевны. Но хозяйка не скупилась. Хрена хватало на всю деревню. Сейчас на этом хрене можно было бы устроить выгодный бизнес. Шутка сказать, на современном московском рынке цена одной хреновины пошла уже на тысячи! Говорят, что племянник Поликарпа Ивановича, уже известный Василий Егоров, до своего злодейского поступка бойко торговал этим товаром, поставляя его в Москву мешками. А тогда, в благословенные довоенные, колхозные тридцатые – тогда на хрена он был кому нужен! Вместо сада доставшаяся приусадебная земля, соток в пятьдесят, была занята под картошку. Этот вытянувшийся своими грядками участок был словно разделительной полосой между большим яблоневым садом моих дядьев Александра и Федота Ивановых и всей остальной деревней. Из-за этих грядок через заросшую канаву нам, деревенским босоногим налетчикам, удобно было проникать в охраняемый сторожем сад к вкусным грушам дулям, тонковеткам и краснобочкам.

Дом у Поликарпа Ивановича был деревянный, рубленый, крытый под соломой, с небольшими сенцами, через которые был задний выход во двор, где стояли корова, лошадь Пеганька да две-три овечки с курами. Иногда здесь повизгивал и поросенок. Жилое помещение состояло из одной комнаты в два окна на деревенский проулок и одно, с торцевой стороны, в сад соседа Ивана Митриева, который начинался прямо из-под этого окна. Меблировка жилого помещения состояла из в половину дома русской печи, лавок вдоль окон в углу, в котором висела икона. За печкой был кухонный чуланчик.

Все богатство этого дома состояло в необыкновенном таланте хозяина Поликарпа Ивановича, мастерового человека, в хозяйской изворотливости его жены Анисьи Ермолаевны и трудолюбию детей. Однако эти от Бога данные добродетели не превратились не только в капитал, но и в сытый достаток. Они в той прошлой деревенской жизни ценились так же дешево, как и хрен.

Я хорошо помню и дом Поликарпа Ивановича, и всю его семью, потому что часто и подолгу бывал в этом доме, на огромной теплой печке. Когда Маме приходилось уезжать в город, она оставляла меня на попечении тетки Анисьи и ее старших дочерей. Я помню необыкновенно вкусный суп из зеленого гороха, который без мяса варила хозяйка. Помню бочку с белым квасом в сенцах слева от входа, из которой можно всегда напиться, даже не спрашивая разрешения. Помню, как однажды тетка Анисья умудрилась угостить своих детей и меня с ними вкуснейшим мороженым. Она научилась делать его, живя в московских прислугах. Вообще, между нашими семьями были очень добрые отношения. А Мама моя приходилась тетке Анисье и дяде Поликарпу кумой. Крестила у них двоих младших. Тетка Анисья как-то по-особенному обращалась к моей Маме во время всяческих разговоров. Она называла ее кумочкой.

А семья у Поликарпа Ивановича получилась большая. Детей было пятеро: старшая дочь Анна – ровесница моему брату; сын Александр (Санька), с семнадцатого года; дочери Мария и Софья, с двадцатого и двадцать второго годов; и младший сын Иван по прозвищу Шалыпин, данному ему отцом за то, что очень громко голосил. А младшую дочь – любимицу Соню дядя Поликан ласково звал Чубуком. Подстригал он ее с чубчиком. Так и прозвали ее поэтому.

Всех вырастила тетка Анисья. Всех научила честности, трудолюбию и опрятности.

С заплатками они у нее ходили, но оборванными никогда не были. Она умела шить, стирать без мыла, но очень чисто, соблюдать в доме настоящий порядок. Кулинарный ее талант удивлял. В дело шло все, что росло у нее не только на огороде, но и по канавам. Всяким травам она находила применение. Конкурентов у нее не было, так как этот вид хозяй-

ственной деятельности в нашей деревне был бесперспективен. Просто не было в деревне достаточно воды для полива. А тетка все-таки огород имела. И росли у нее на ухоженных грядках и лук, и огурцы, и морковь, и свекла, и укроп, и махорка для мужа. В этом наборе и дикорастущий хрен тоже имел свое предназначение. Страдал же Анисьин огород не от недостатка воды, а от все тех же ребячьих набегов.

И все-таки, несмотря на все изощрения хозяйки и постоянную, ежедневную работу во многих ремеслах хозяина, семья жила бедно. Хотя и утверждали знаменитые политэкономы, что труд является источником богатства, в нашем случае он достатка семье не приносил. И это при том, что без Поликарпа Ивановича, без преувеличения можно сказать, невозможно было в колхозе «Красный путь» обеспечить все циклы сельхозработ. Здесь, конечно, следует иметь в виду и колхозного кузнеца. Он обеспечивал колхоз металлическими деталями для ремонта всех машин и сельхозорудий. А Поликарп Иванович этот ремонт производил «от гвоздя до гвоздя».

Во-первых, он был столяр и плотник и имел для этого полный набор инструментов. А далее, ему были доступны и подвластны все бытовые ремесла: он лудил, паял, точил, знал кровельное и шорное дело, мастерски подшивал валенки, чинил кожаную обувь, чинил ведра и делал новые, гнул жест в трубы разных фасонов, умел портняжить, тонко владел слесарным и токарным делом, сам для себя изготавливал слесарные и измерительные инструменты.

У моего брата, как подарок дяди Поликарпа, до сих пор хранится сработанный им у себя дома кронциркуль. Наверное, я что-то забыл из арсенала мастерства этого необыкновенного, талантливого человека. В ремесле он был неисчерпаем. Для деревни и для колхоза он один был целым ремонтным цехом, комбинатом бытовых услуг. Все колхозные сеялки, веялки, сортировка, молотилки, жатки и жнейки, косы и грабли, культиваторы и плуги и даже эмтэсовские комбайны починить мог только он.

Его мастеровитость могли унаследовать сыновья – старший Александр (Санька) и младший Иван (Ванька Шаляпин). И дело к этому шло. Но для полного овладения опытом и творческим наследием отца им не хватило жизни. Помешала война.

Все, кажется, дал Бог Поликарпу Ивановичу. Был он и добр, и бескорыстен. Все шли к нему, и он никому не отказывал. Но не дал ему Бог личного благополучия и удовлетворения от своего труда. Жизнь и вовсе складывалась как-то несправедливо к таким, как он. Не могли увидеть почему-то братья по классу, что, работая на общий интерес, эти незаменимые мастеровые люди не имели ни времени, ни способности вести свое собственное хозяйство. Мне кажется, например, что ни наш деревенский кузнец Михаил Афанасьевич, ни слесарь, столяр и плотник Поликарп Иванович не могли произвести крестьянскую работу на собственном огороде. В глазах соседей они даже имели репутацию чудаков-неудачников. Над ними посмеивались, вместо того чтобы их беречь и о них заботиться. Очень эгоистично и потребительски пользовались и соседи, и колхоз высококвалифицированным трудом своих чудаков-мастеров. А они, наверное, ожидали не только материального поощрения, но и морального признания.

Как этого хотел некрасовский мужик-бедолага:

«Хоть бы раз Иван Массич
Кто б назвал меня».

Может быть, от непризнания, да и от множества житейских неурядиц и неудач и нашел Поликарп Иванович свою отдушину в обычном пороке. Был он запойным алкоголиком. А может быть, проще: в этом пороке проявилась его балыжная наследственность. Я не хочу и не могу назвать дядю Поликана пьяницей. Это название ему не подходит. Он не был пьяни-

цей-забулдыгой, подобным современным алкашам, морально и физически разложившимся людям. А был он всегда тружеником, рабочим человеком, незаменимым на своем месте.

Запивал Поликарп Иванович почти через равные промежутки времени. Мне кажется, что летом это случалось с ним не более одного раза. Нападала на него какая-то тяжелая нервная нетерпимость. И он напивался сразу и начинал бушевать. Запой продолжался неделю. В эти дни он был страшен. Семью выгонял из дома. Особенно доставалось маленькой тетке Анисье. Он бил, рвал и колол все, что попадало под руки, все, что он делал своими руками. Я помню, как он однажды вдребезги об угол дома разбил ни в чем не повинную новенькую Санькину балалайку. Мне было жалко и балалайку, и сына его Саньку, уже взрослого парня. Он не мог остановить пьяной ярости отца. Все дети с матерью, теткой Анисьей, от страшного буйства скрывались в нашем доме под защитой моей Мамы. Она одна могла укротить и успокоить своего кума, выбрав для этого момент, когда пьяный сосед, оставшись в одиночестве, вдруг затихал. Мама или заходила к нему в дом, как укротитель в клетку зверя, или зазывала его в свой дом. Маму кум уважал и даже в пьяном угаре не позволял себе в отношении к ней какой-либо грубости.

Между ними начинался душевный разговор. Поликарп Иванович успокаивался и начинал изливать ей душу до слез, каялся, бил себя в грудь. Я вспоминаю Мамины рассказы о таких покаянных сценах и только теперь начинаю понимать подоплеку запойной тоски и ярости дяди Поликана. Может быть, конечно, не было никакой тоски, а была обычная болезнь запоя, возникающая по известной причине пристрастия. Один удерживался от него, а другой нет. Ну, а может быть, все-таки была тоска и отчаяние от неустройства жизни. Может быть, была и обида от непризнания. А запойная ярость – как буйная разрядка. Мастер знал, что он все может, он чувствовал в себе способность сделать даже невозможное, а признания не получал.

«Кума! – в пьяных слезах жаловался уже смирившийся буйан. – Я все могу. Я могу слепить человека из глины. Я дуну ему в жопу, и он пойдет». А потом сокрушенно заключал: «Ну и что?»

А может быть, и его постоянно тревожил вопрос о смысле жизни. Для чего? Почему? Как?

Нет, не только пристрастие к спиртному было здесь причиной пьяной ярости Мастера.

Утихомирившись, дядя Поликан неделю приходил в себя. Ходил хмурый, все еще злой, молчаливый, но уже безвредный. Ходил, собирал все сокрушенное. Потом все сломанное и побитое восстанавливал, приводил в порядок. Делал даже лучше, чем было. Но ту разбитую вдребезги Санькину балалайку починить не мог.

А младший его сынок Ванька по кличке Шалапин к сохранившемуся балалаечному грифу приладил нечто похожее на балалаечный корпус, натянул струны и стал наигрывать страдания. Не ошибся отец кличкой. Ему суждено было в большей мере, чем другим, сестрам и брату, унаследовать от отца буйные и неукротимые гены.

Несмотря на высокое трудолюбие и добросовестность в общении с людьми, воспитанные в характере детей Поликарпа

Ивановича и Анисьи Ермолаевны, их будущее не могло состояться в деревне. Как и в давние дореволюционные времена, значительная часть подрастающей молодежи из деревенских больших семей должна была искать себе занятие на стороне, в городах. Многие уезжали из деревни по вербовкам на различные стройки, а многие – по собственной инициативе. Первой из дома Поликарпа Ивановича ушла его старшая дочь Анна.

Обычно поиски удачи в городах наши деревенские девушки начинали с найма в прислуги. Прислугами в городах в довоенные годы пользовались не только состоятельные, а бы сказал не столько состоятельные, но и обычно рабочие семьи. Необходимость найма прислуги возникала во многих семьях не от избыточного достатка, а скорее от недостатка

средств. Соседствующие с нашей семьей в начале тридцатых годов молодые муж и жена, работавшие один на заводе «Калибр» токарем, а другая моталкой на чулочной фабрике в Марьиной Роще, вынуждены были нанимать прислугу, так как не на кого было оставить двоих малолетних детей. Наниматели жили в двенадцатиметровой комнате, имели невысокий заработок, едва сводили концы с концами, но вынуждены были нанимать девушку или пожилую женщину, которых, в свою очередь, нужда выгоняла из деревни. А бывало, и вовсе не нужда это заставляла делать. Например, все девочки – дочери двоюродной сестры моей Мама Екатерины Васильевны Безгиновой, а их у нее было девять – вынуждены были пойти в прислугу после того, как их отца раскулачили, а семью выселили из родного дома.

В городах таких девочек ожидала нелегкая жизнь и в материальном и в моральном отношении. Хозяевам подчас самим не хватало заработка, чтобы сводить концы с концами. Не хватало и жилплощади, чтобы обеспечить человеческий ночлег. И все-таки для многих деревенских девочек городская жизнь в прислугах начиналась в таких условиях. Выбора не было. Но уходили по проторенной дороге. Кто-то уходил раньше, устраивался, затем устраивал своих сестер, соседей по своей протекции в такие же отнюдь не богатые семьи. А через некоторое время молодые девушки-прислуги устраивались на фабрики, на которых работали их хозяйки, а некоторые поступали в учебные заведения, получали городскую специальность, выходили замуж и в конце концов становились полноправными гражданами города. Правда, в большинстве случаев значительную часть жизни приходилось прожить в барачных общежитиях или в подвалах.

С этого начала и Нюра, старшая дочь Поликарпа Ивановича и Анисьи Ермолаевны. Ее в прислугу пристроила моя Мама, по знакомству, в одной семье на Третьей Мещанской улице, у которой мои родители сами снимали комнату для временного проживания. Ей повезло. Она попала в семью портного-закройщика, который имел приличную клиентуру и заработок. С семьей этого портного наша семья оказалась в родстве. На одной из его дочерей женился мой двоюродный брат и крестный отец Георгий. У него к этому времени родилась дочка, для которой и была нанята в прислугу Нюра. Сытая жизнь здесь ей была обеспечена, а также было обещано в дальнейшем устройстве жизни. А спала Нюра на кухонной плите. Спать укладывалась после того, как плита остывала. На эту жизнь она не жаловалась ни тогда, ни после. К ней в гости приезжала мать Анисья Ермолаевна. Хозяева принимали и ее. Ведь у нее был еще дореволюционный опыт работы в прислугах. И она делилась им с дочерью. Наконец период адаптации к условиям городской жизни в прислугах через три или четыре года закончился. И опять через посредство знакомства моих родителей Нюру устроили на Чулочную фабрику им. Ногина в Марьиной Роще, моталкой. Нюра одновременно с моими родителями получила место в фабричном общежитии за Крестовской заставой. Там, в районе нынешнего проспекта Мира и прошла значительная часть ее жизни.

На фабрике она стала ударницей, а потом стахановкой. Вышла замуж за очень хорошего, скромного и работающего, как и она, парня – Александра Мешкова. Он тоже был из крестьянской семьи, которая по тем же причинам социалистического переустройства деревни оказалась на нашей далекой тогда закрестовской окраине, в таком же общежитии. Скоро родилась дочь Лида, а муж был призван в Красную Армию. Молодая жена с дочкой осталась его ждать в семье свекра и свекрови. А там, кроме сына-красноармейца, жили еще три брата и сестра. И все в одной комнате. Семья была дружная. Молодайка с дочерью не обижали, а всячески им помогали вниманием и заботой. На жизнь-то Нюра зарабатывала сама стахановским трудом. Через два года из Уссурийского края вернулся муж лейтенантом запаса.

Жизнь продолжалась все в той же плотно населенной комнате без семейных распрей и конфликтов. Такая была удача!

За старшей сестрой в Москву потянулись и младшие. Сначала приехала младшая, Соня, а за ней и Маша. Путь был проторен старшей сестрой. Обе стали моталками на чулоч-

ной фабрике в Марьиной Роще. И тоже скоро стали стахановками. Сестры держались друг за друга. И так было всю их жизнь. Трудом своим и взаимной поддержкой они укреплялись в жизни.

Когда я после войны вернулся в Москву, то всех трех сестер увидел вместе у старшей, Нюры, все в той же комнате, в доме на Мало-Московской. Война разуплотнила ее население. Все три брата Мешковы не вернулись с нее, а старики померли. Погиб и муж Нюры, лейтенант Александр Мешков. Последний раз я видел Сашу в первых числах июля 1941 года. Я стоял на троллейбусной остановке на Мало-Московской улице. Прямо против меня на нынешнем проспекте Мира, а тогда на Ярославском шоссе сделала правый поворот полуторка. В кузове сидели молодые парни, мобилизованные на войну. У заднего борта сидел Саша. Мы встретились с ним взглядами. Я закричал прощальные слова, а Саша по-родному махнул мне рукой. В том же 1941 году Нюра перестала получать от него письма.

А муж у сестры Маши умер уже после войны, оставив ее с двумя малолетними сыновьями. Сестры совместными усилиями вырастили этих молодцов. А дочь Нюры закончила техникум и, выйдя замуж, наградила бабушку двумя внуками.

С мужем Сони произошла беда. Он работал водителем троллейбуса и совершил наезд не пешехода. Наказание отбывал во Владимире, куда вскоре переехала и Соня, чтобы облегчить отбывание срока. Так и остались они жить потом в этом городе.

Добрый человеком оказался для Нюры ее второй муж Николай Игошин – вернувшийся из плена лейтенант Красной Армии. Но кто знает, кому больше повезло? Николай был высококвалифицированным металлистом-инструментальщиком, и, устроившись на завод, он прилично зарабатывал. Но не давал покоя пережитый долгий стресс плена, а затем его последствия. И снова, как в детстве, в деревенской молодости запойный отец, достался Нюре запойный муж.

Но ей удалось вернуть его в нормальное состояние. Николай Игошин прожил с ней до конца своей жизни. А мы иногда, ошибаясь, называли его Колей Мешковым. Не умерла в этой семье добрая память о Саше Мешкове. Коля не обижался на нас за эту ошибку.

А в деревне накануне войны с родителями все еще оставались два сына: старший – Александр Поликарпович и младший – Ванька Шаляпин.

Сыновья унаследовали от отца мастеровитость, а младший, Ванька, даже буйный нрав. Отцовская непокорность сказалась и в характере Александра. (В семье и в деревне его называли Санькой.) Эта непокорность проявилась в том, что он вопреки несогласию родителей и при полном недоумении всей деревни влюбился в замужнюю бабу, очень, по мнению односельчан, с сомнительным поведением по части мужского пола. Звали эту женщину Галиной Гавриловной, или, в связи с ее легким поведением, просто Галькой. Она была дочерью кренинского мужика Гаврила Петровича Ермакова. Семья этого человека была близка и моим родителям, так как за сына Гаврюхи – Ивана-выдана была замуж воспитанница Лена, взятая моей Мамой в годы Гражданской войны из Мценского детского дома на воспитание.

Хоть и полюбил ее Ванька Громак и взял за себя без приданого, но в доме у Гаврила Петрова нашей Лене предназначена была роль и положение постылой невестки. Полный приоритет в семье имела Галька. Гульливой оказалась эта очень крупных форм, но, однако, привлекательная девушка. Что-то цыганское, а может быть, украинское было в ее облике и в крови. Дело в том, что кренинские мужики и бабы в далеком прошлом были крепостными крестьянами. Некоторые семьи, видимо, в давние времена были вывезены то ли с Украины, а может быть, и из Молдавии.

Таких семей в этой деревне было четыре и звали их всех Цыганками. Жена Гаврила Петровича была как раз из Цыганков. Она и передала Гальке пылкую наследственность знойной южной натуры. Не один из деревенских ловеласов в нашей округе испытал ее женский темперамент. Наконец она вышла замуж за какого-то то ли зарощинского, то ли басты-

евского мужика. Родила двоих дочерей. Но в конце концов за неверность отправил ее муж домой. И вдруг к двухдетной красавице загорелся любовью наш, Поликарпа Ивановича, молокосос еще Санька. Да так влюбился, что и поделать было ничего нельзя. А Галька, несмотря на суды и пересуды благонравных деревенских сочувствительниц, приняла эту любовь и без всякого смущения с обеими дочерьми вошла в маленький дом большой семьи Анисьи Ермолаевны и Поликарпа Ивановича. Может, это и ускорило отъезд из деревни обеих младших дочерей – Мани и Сони. А молодожены назло всем пересудам зажили дружной жизнью. Вскоре Галька родила Саньке третью дочь. А молодой муж был призван на действительную службу в Красную Армию. Служил далеко, на Дальнем Востоке, где-то в Уссурийском крае. А Галька ждала и жила вместе со свекром и свекровью. А те были одинаково участливы и к невестке, и ко всем трем внукам. За два года до войны Санька демобилизовался, вернулся домой, и дальнейшая его судьба окончательно определилась. Он должен был унаследовать и отчий дом, и отцовские права, и обязанности в колхозе «Красный путь».

Теперь в этом колхозе стало двое мастеров на все руки. А Галька скоро родила ему четвертую дочь. Она бы родила и пятую, но началась война. И Александр Поликарпович по объявлении всеобщей мобилизации в первые же дни войны ушел на фронт. Вернуться домой ему не было суждено. Похоронка пришла еще до того, как в деревню пришли фашисты.

Оккупацию в деревне бедовали вместе. Мужиков почти не осталось. А те, которые по возрасту еще не подходили под призыв в начале войны, были призваны в 1942—1943 годах. Теперь вместо Александра отцу помогал Иван. Хозяйничала в доме Галина Гавриловна. Но вскоре случилась беда. Выпил Поликарп Иванович, не утерпев, какой-то дряни, которую стащил в приглянувшейся бутылочке у немцев, и умер от жестокого отравления. Вот так просто и не стало нашего деревенского Кулибина. Говорят, что сноха похоронила грешного недалеко от дома, на усадьбе, так как на Поповке еще проходила фронтовая полоса.

Как только немцев отогнали от нашей деревни, сестры сумели вывезти оттуда и мать, Анисью Ермолаевну, и младшего брата Ваньку, которому уже шел семнадцатый год. А в 1944 году и его призвали в армию, и он ушел на фронт.

Дочери Поликарпа Ивановича в годы войны и в трудные послевоенные годы сумели выполнить не только все свои собственные задачи, но и сумели оказать поддержку своим родным и неродным племянницам – дочерям Галины Гавриловны, которые оставались на старой усадьбе Поликарпа Ивановича.

Старшая, Нюра, всю войну и после нее несколько лет работала токарем на Ростокинском металлообрабатывающем заводе. Растила дочь. Сестры поочередно ездили в деревню к племянницам. Помогали им материально. А когда они стали вырастать, двоих братовых дочек вывезли в Москву и помогли им устроиться в жизни. А одна из дочерей Галины Гавриловны вышла замуж за какого-то мценского парня по фамилии Матросов, который стал главным мценским руководителем – то ли председателем горсовета, то ли секретарем горкома партии.

А другую дочь мать выдала за пастуха, пришедшего в наши края, как и в прошлые времена, из рязанских земель. Грубым оказался он человеком, но хозяйственным. И благодаря ему до сих пор на усадьбе бывшего матроса со «Святого Пантелеймона» и деревенского мастера на все руки Поликарпа Ивановича стоит дом и продолжается жизнь. Нет деревни Левыкино. Только старый колодезь, да невидные уже из-под земли пни вековых лип и раkit, да два или три домика типа полевых вагончиков слабым дымком своих труб оповещают, что жизнь здесь еще теплится.

Когда я в 1966 году посетил родные места, то встретил на огороде бывшей усадьбы Поликарпа Ивановича его невестку Галину Гавриловну. Полагая, что она не узнает меня, я строго пошутил через плетень. «Что же это вы, гражданочка, – сказал я, – на чужой усадьбе огород свой развели? Это ведь земля Григория Иванова». А она, выпрямившись и поглядев

в мою сторону, приняла игру. Она, конечно, меня узнала и говорит: «Нет, Константин Григорьевич, это земля Поликарпа Ивановича, а вы сами стоите на земле Григория Ивановича». Она тогда, Галина Гавриловна, была еще совсем не стара и все еще оставалась красива и привлекательна. А на следующий год я узнал о ее трагической смерти. Ее сбила машина на нашей бывшей Каменной дороге, теперь именуемой Симферопольским шоссе.

Невеселая судьба выпала на долю младшего сына Поликарпа Ивановича – Ваньки Шалыпина. С войны с медалью «За отвагу» он вернулся по ранению незадолго до ее окончания. Сестры помогли ему устроиться на работу в сапожную мастерскую. Навыки к этому ремеслу он получил еще от отца. А теперь очень быстро стал хорошим мастером, научился шить новую обувь. Жизнь складывалась удачно.

Вскоре после войны Иван женился. Жена ему попалась недурна собой, бойкая, предприимчивая и неверная. А Иван знал только одну меру воспитания. Стал он свою неверную жену побивать. А она призвала на помощь любезного ей милиционера, и Иван сел в первый раз. Отсидел он за хулиганство два года и за примерное поведение и хорошую работу был отпущен. Хорошо работать научил его отец. Он и в лагере не мог работать плохо. Вернулся. А жена его не приняла. И уехал Иван за сто первый километр в тульские земли. Там он работал по плотницкому делу и успел построить себе дом. Женился второй раз. И снова сел. И опять за хулиганство. О причине этого преступления он мне рассказывал сам, когда за примерную работу был отпущен в отпуск с какой-то химической стройки из-под Оренбурга, где он отбывал наказание. «Было это так, – говорил Иван, – шла одна баба мимо моего дома, а я работал на крыше. Я ей крикнул: не ходи здесь. А она не послушалась. И вдруг сверху на нее упала доска. И прямо ей по голове. Баба пожаловалась на меня, и мне дали второй срок – 8 лет». Иван, появившись у меня неожиданно утром в один день своего отпуска из лагеря, рассказал, что он построил себе дом в два этажа и с бассейном на участке. Я не поверил. Мы расстались. Я пожурил друга, а он обещал мне, как всегда, быть хорошим человеком. При всех прегрешениях своих Иван был хорошим человеком. Вредная наследственность мешала ему в жизни. Его преступления никогда не были преднамеренными. Я в этом уверен. Они были импульсивны, совершались неожиданно. В лагере «на химии» Иван также показал образцы поведения и отношения к труду. Он был освобожден опять досрочно и вернулся в свой дом под Тулу. А однажды в зиму он пропал. Нашли его весной, когда его труп всплыл из-под льда пруда. Сестры ездили его хоронить. Рассказывали потом, что брат действительно построил себе хороший и в два этажа дом, что в подвале была оборудована котельная и мастерская с разнообразным инструментарием. А в саду действительно был бассейн, и в нем водились карпы.

Вот так в жизни иногда все получается несправедливо. Отцовский незаурядный талант не превратился в накопленные материальные ценности. А Ивану, и больше того, жизнь не дала прочного места. Говорят, человек – кузнец своего счастья. Не кузнецом, так заправским плотником, столяром и сапожником был Иван Поликарпович Левыкин. Мог бы быть и еще кем угодно, да какой-то роковой выпала ему судьба.

Однажды ко мне в Исторический музей, где я работал директором, пришел молодой человек. Вошел в кабинет, весело улыбаясь, и представился то ли Андреем, то ли Юрием, то ли Игорем. Забыл я, каюсь. Но по фамилии он назвался Левыкиным и добавил, что он сын Ивана Поликарповича Левыкина. Похож он был на своего отца, оказалось, не только лицом, но и мастеровитостью. Он работал в художественно-оформительском комбинате Худфонда Московского отделения Союза художников. И был он там, на этом комбинате, мастером на все руки. Он был сыном той неверной жены моего друга Ивана, которая определила тогда обманутого мужа – ветерана войны в первую уголовную отсидку. А сын вырос, не зная отца. Мою фамилию он услышал среди фамилий заказчиков на своем комбинате и пришел познаться и поговорить. Я ему рассказал все, что знал о деде и об отце, о их необычном

таланте в ремесле, о деревне и их горемычной жизни. Меня слушал парень внимательно, с интересом. А я подумал: сумеет ли он преодолеть в себе роковые балыжные гены? Глаза-то у него были такие же бесшабашные, как у отца.

А дочери Поликарпа Ивановича в Москве сначала похоронили на Тихвинском кладбище в селе Алексеевском свою мать Анисью Ермолаевну. Потом похоронили под Тулой брата Ивана и отказались от права наследования его имущества в пользу одинокой его незарегистрированной жены. Похоронили сестры и мужа Маруси. Умер потом и Коля Игошин, второй муж Нюры. А как-то в холодную зиму 1978 года умерла и сама Нюра. Ее похоронили рядом с мужем на Долгопрудненском кладбище. Так в деревню, на отцовский двор никто и не вернулся. И некому теперь поискать на его усадьбе и поправить его могилу. Можно сказать, мир забыл, что жил здесь когда-то добрый, талантливый и горемычный мастерской Поликарп Иванович Левыкин.

* * *

На всех остальных старых усадьбах нашей бывшей деревни тоже растет теперь только трава забвения. Но и среди нее можно еще разглядеть слабые следы былой человеческой жизни. Они сохраняются еще в неугасающей памяти немногочисленных потомков их хозяев. Иногда они неожиданно-негаданно появляются вдруг на старых канавах, у сохранившихся еще ракут и вишен, росших по этим канавам заслонами от зимних холодных ветров. Только остатки этих заслонов и дают им возможность вспомнить былую жизнь и себя в ней. Только им одним могут поведать в шепоте ветвей наши родные Шуменки о своей уже никому не нужной одинокой старости. Постоят эти молчаливые гости на родимых канавах, наслушаются этого доверительного и понятного только им шепота воспоминаний старых ракут. Редко у кого при таких встречах не замутится взгляд и не скатится по щекам слеза. А потом вдруг заезжий гость взглянет на часы и, вспомнив о неблизком еще пути до своих московских квартир, захлопнет за собой дверцу автомобиля. И только долго не оседающая в безветрие пыль из-под колес на короткое время обозначит этот неожиданный визит на пути от теплых крымских или сочинских пляжей.

Вот так и я десять лет назад, сбежав с пленарного заседания российских музейных деятелей, проходившего в Орле, вдруг в осенний день в конце сентября нежданный и непрошенный появился на чутьем угаданном проулке, который когда-то разделял нашу деревню на две стороны. На усадьбе Поликарпа Иванова тогда еще жил пришлый рязанский пастух.

А рядом, на той же стороне, пустовала и не ожидала своих бывших хозяев усадьба Ивана Митрева Левыкина. Вместе с ним когда-то жил и его брат Сергей Митрев. Обоих в деревне звали Кугуями. Кто из них был старшим, почему у них была такая кличка и что она означала, я не знаю. Знаю только, что Иван Митрев умер первым. В детстве я привык думать, что кличка его была как-то связана именно с его необыкновенным внешним видом. Другого брата Сергея Митрева я знал меньше, так как на моей памяти в нашей деревне он уже не жил, а по женитьбе своей обосновался окончательно в доме жены в соседней деревне Ушаково. По своему жизненному темпераменту братья различались. Сергей Митрев был человеком обыкновенным, то есть ничем не отличающимся от себе подобных мужиков-крестьян, состоятельных или менее состоятельных хозяев, удачливых или менее удачливых. Словом, он был человеком обыкновенного образа жизни и деятельности. А брат его Иван Митрев был человеком богоугодным. Видимо, в богоугодных поступках его выражался и его жизненный идеал, и цель. В молитве он был усерден, а в хозяйских делах менее ревностен и заметно неудачлив.

Я помню, что горница его дома была увешана иконами и бумажными плакатами с изображением библейских сюжетов и святых ликов. А сама же она, горница, являла собой кар-

тину разорения. Она в начале тридцатых годов уже была нежилой. Полы в ней наполовину почему-то были выломаны. Стекла окон на такую же половину были выбиты, словно бы через них на рассвете, как в гоголевской повести, убегали черти. Горница была захламлена. По углам висела густая паутина. Здесь хранились зерно и мука, потому всегда пахло наполовину хлебом, а наполовину мышами. Все это было уже на склоне жизни Ивана Дмитриевича. Это разорение многие объясняли не причинами его старости, а именно нерадением богоугодного хозяина. Вид он имел библейский. И был похож на одно из изображений святых старцев на его горничных плакатах. Глаза его, на лице с длинной, но не густой рыжеватой бородой, были всегда воздеты вверх, будто он постоянно о чем-то просил Всевышнего своей слезливой молитвой. Череп его был наполовину лыс, а на плечи с остальной части головы свисали космы таких же рыжеватых волос. Когда он коленопреклоненно и истово молился в церкви и отдавал земные поклоны, то космы эти веером расстилались по каменному церковному полу. А молодые деревенские ребята-озорники, среди которых был и мой отец, поджидали этого момента, чтобы как бы ненароком наступить ему на эти космы. Вот в этот момент и издавал молящийся Иван Митрев какие-то кугукающие звуки то ли возмущения, то ли обиды на озорников. Да и обычно, когда он вслух размышлял о чем-то или начинал с кем-нибудь разговор, все это тоже сопровождалось такими же кугукающими междометиями типа «угу, кугу». Может быть, поэтому и прозвали его Кугуем. А кличка потом перенеслась и на брата, и на сыновей, и перешла к внукам. Хозяйством своим он занимался мало. Большую часть времени он проводил в церкви, выполняя поручения настоятеля в хозяйственных церковных делах. А дома больше всего надеялся на Божью милость и проведение, а то и на счастливый случай. Он всю жизнь, например, мечтал завести у себя пчел. Но чтобы купить их, нужны были деньги. А их у Ивана Митрева не было. Поэтому он надеялся ненароком поймать в лесу или на огороде молодой пчелиный рой. Из дома он всегда на такой случай выходил с мешком, заткнутым за пояс. И надеялся, что когда-нибудь ему повезет и он поймает свое счастье. Однако жизнь такого случая ему не дала. Так и прожил Иван Митрев в своей благочестивой бедности и мечты своей не поймал. Родил он с супругой своей Варварой Ивановной троих сыновей и одну дочь. Но и им не суждено было выйти из бедности. Жизнь у сыновей оказалась недолгая. А дочь от деревенской нужды уехала в Москву и всю жизнь прожила прислугой в небогатой еврейской семье. Свой скудный заработок она почти полностью отдавала своим двум племянникам-сиротам. Понятие личного счастья ей оказалось неведомым, а племянники не порадовали ее в старости.

Усадьба Ивана Митрева была, как и все, невелика и соседствовала с двором Балыги – Поликарпа Иванова. Возможно, что семьи их имели общие родовые корни. Мне помнится, что соседи считали себя вправе пользоваться плодами из сада Ивана Митрева, который начинался прямо из-под балыжьего окна. Особенно страдала от соседских притязаний яблоня коричневого сорта. Из всех особей коричневых яблонь в нашей деревни она была особенной вкусом своих плодов и поэтому привлекала интерес не только соседей, но и многих деревенских ребячьих налетчиков. Плоды на ней сохранялись только на самом верху старой разросшейся кроны. А те, которые были пониже, созреть не успевали. Неплохой был у Кугуев белый налив и красивый сорт рясовки. А еще была очень сладкая слива. Она была крупная, мясистая и сладкая. А цвета она была фиолетового. Но и этого плода, в конце концов, мало доставалось хозяевам. Дерево было небольшим и старым. Я помню, как в одно лето подломился и упал один в основании подгнивший сук, и оно осталось как бы одноруким. Добрым хозяевам плодов из своего сада хватало только на угощение наиболее уважаемым соседям. Я был в их числе.

На усадьбе, кроме дома, когда-то стоял амбар. Но его за ненадобностью – в нем нечего было хранить – потихоньку разобрали на дрова. Завалилась однажды и крыша скотного двора. Я помню этот двор уже со сгнившими стропилами и обвалившейся крышей. Корову

свою и двух-трех овечек хозяева загоняли в сенцы. За двором через небольшое картофельное поле стояла когда-то рига, а за ней знакомые уже нам заросли орешника под названием колычки.

У Ивана Митрева было трое сыновей и одна дочь. Двоих старших – Поликана и Сергея Ивановичей я не мог знать, так как их уже не стало, когда я родился. А Тихона Ивановича и Марию Ивановну я и знал, и хорошо помню.

Я уже рассказывал о том, как страстная любовь Поликана к деревенской обворожительнице Груне закончилась для него трагической смертью. Добавлю только еще то, что слышал о нем из рассказов моей Мамы. Она говорила, что Поликан был хорошим человеком обычных крестьянских намерений. Может быть, не случись страшное, сладилась бы у него нормальная жизнь и семья с Аграфеной. Горевали о нем долго и родня, и соседи. Но все прошло и забылось. И мне о нем сказать больше нечего.

Сергея Ивановича и в семье, и в деревне звали Сёрой. Как я понял, слушая рассказы о нем, в этом ласковом звучании имени содержался намек на некоторую умственную ограниченность этого деревенского парня. Однако в Первую мировую он был призван в армию и оказался на фронте. В числе первых Сёра дезертировал из армии, как только начались революционные события, и прибыл в деревню в полном боевом вооружении, с винтовкой и гранатами. Теперь в деревне Сёру стали бояться. Иногда он попугивал соседей стрельбой по курам. Вскоре этот революционный дезертир был замечен новыми властями и был назначен комендантом железнодорожной станции города Мценска.

Свою задачу Сёра быстро понял. Он ходил по перрону с гранатами на поясе и винтовкой-драгункой на ремне и производил грозное впечатление на мешочную публику. А кончилось дело тем, что очень скоро заболел бедолага тифом и помер. Не знаю, почему так долго наши деревенские мужики потешались этой невеселой историей.

Фактическим хозяином с середины двадцатых годов на усадьбе Ивана Митрева стал его младший сын Тихон. А сестра его Мария Ивановна к этому времени уже проживала в Москве, в прислугах.

В ранней молодости Тихон Иванович потерял один глаз, и поэтому ни война, ни революция не вовлекли его в свой круговорот событий. Но физически он был силен, широк в плечах и высок ростом. А черная повязка через лоб придавала ему вид бывалого, решительного и даже бесстрашного человека. Речь его была громкой и уверенной. Я его даже немножко побаивался. Но он был в дружбе с моими родителями, а страх мой он обычно быстро рассеивал неожиданной мужской лаской ко мне.

Невесту себе Тихон Иванович высватал в деревне Хализево. Выбрал он себе девушку небогатую, маленькую ростом, на первый взгляд невзрачную, но, как оказалось, бедовую и веселую. Рядом со своим могучим и суровым мужем она выглядела мелкой пташкой. Тяжелая и горькая досталась доля Анастасии Ивановне в нашей доброй деревне Левыкино. И если бы не необыкновенная жизненная сила духа, неизвестно как уместившаяся в этом хрупком, маленьком и беззащитном человеке, не выжили бы в беде ее сыновья. Дело в том, что муж ее Тихон Иванович вдруг неожиданно в 1930 году помер от столбняка. Вдова осталась с двумя детьми: Шуркой, с двадцать четвертого, и Колькой, с двадцать девятого года рождения. На попечении вдовы еще несколько лет оставался и очень уж старый, немощный свекор Иван Митрич.

Наступила пора безысходной нужды и лишений. Единственной опорой осиротевшей семьи была золовка Мария Ивановна. Но что она могла сделать, будучи сама в нужде и зависимости? всю жизнь она прожила в прислугах. Даже при щедром одарении хозяевами одеждой со своего плеча и куском хлеба со своего стола она могла прислать племянникам две-три посылки да один раз приехать летом на короткую побывку с гостинцами. Но как много для бедной женщины с детьми значило это внимание! В их сиротском доме всегда жило ожи-

дание встречи родного человека, ожидание помощи и участия. Мария Ивановна отдавала детям все, что она имела, что она могла заработать.

А Настасья Ивановна и в весну, и в лето, и в ненастную осень, и в холодную зиму денно и ночью трудилась в колхозе. Невозможно было представить, откуда ей можно было достать сил, чтобы не надорваться на этой лошадиной работе. А она еще была и звонкой песенницей, и душой всех обездоленных деревенских бабенок. И в нужде, и в тяжелой своей доле Анастасия Ивановна не лишила своих сыновей детства. Она успевала их вовремя напоить, накормить, вымыть, уложить спать. Ее дети были и одеты, и обуты. И не обидела их материнской лаской сама, так и не согретая и не обороненная мужской заботой и защитой. Она отдала детям всю свою жизнь без остатка. Многим современным мамам-одиночкам этого материнского подвига уже не дано ни понять, ни повторить.

Моя Мама дружила с Настасьей Ивановной и не только сочувствовала ей в ее вдовьей доле, но и по возможности поддерживала, чем могла. Летом, когда мы приезжали в деревню, и Шурка, и Колька подкармливались у нас. В нашем саду стоял стол, за которым мы в погожие дни кушали. К нему была протоптана дорожка Шуркиными и Колькиными ногами прямо от их дома через сад. За нашим столом им хватало места. Случалось, Мама помогала кое-какой одежкой для ребят, да и для нее самой. Все это делалось от чистого сердца и не выглядело подачкой.

А мы с Шуркой были друзьями. Иногда он приезжал на зимние каникулы в Москву, к своей тетке. Но где она могла приютить племянника, сама живя в прихожей своих хозяев? Но зато ему находилось место у нас, в нашей девятнадцатиметровой комнате на шестерых. В эти дни мы ходили с ним по московским театрам и кино. А в начале каждого лета он ожидал моего приезда в деревню.

Накануне войны, после того, как Шурка закончил семилетку, мать отправила его на попечительство своей золовки в Москву. А сама вместе с Колькой оставалась бедовать дома. Тетка устроила с помощью хозяев Шурку в ФЗУ на завод «Компрессор». По окончании его он стал чертежником-конструктором, остался при заводе и получил общежитие. Но тут началась война. И хоть не баловала Шурку радостями наша счастливая Родина, он сразу записался добровольцем в Народное ополчение и пошел ее защищать. Много ли теперь, в наши дни найдется таких патриотов? А тогда, в сорок первом ими стал весь народ!

В составе дивизии Народного ополчения Калининского района маленький солдатик в шестнадцать лет – Шурка Левыкин отправился на фронт под Вязьму. Воевал в этот раз он недолго. Попала дивизия в окружение. И мой друг оказался в плену. А случилось это очень неожиданно и просто. Долго брел он вместе со своими товарищами на восток, пытаясь выйти из окружения к своим. Обходили занятые врагом деревни. Прятались на день в лесу. На дорогу не выходили. Шли ночью. Но однажды не выдержали. В теплый осенний день захотелось сильно пить. Показалось им из леса, что в маленькой деревне немцев не было. Зато в центре ее виднелся колодезь с журавлем и бадьей. Вышли из леса. Не успели напиться, как вдруг: «Рус сдавайся!» Все прошло так, что сопротивляться было невозможно, да и нечем.

Согнали пленных в сарай. А на другой день погнали на запад. Но сумел-таки Шурка из плена бежать. В плену-то он и был всего сутки. На привале в другой деревне случилось так, что в нем одна крестьянка будто бы признала сына. А был Шурка до того тогда мал ростом, что трудно было поверить, что он мог быть солдатом. Баба, увидев этого ребенка, запричитала, кинулась к конвойным, стала просить. Те и отпустили. А в ноябре сорок первого, как раз под Ноябрьский праздник, ночью Шурка постучал в окно своего дома в деревне Левыкино.

Здесь уже были немцы. Анастасии Ивановне пришлось долго прятать сына не столько от них, сколько от старосты Андрея Зоба. Молила и просила его мать и чем-то даже ухитря-

лась ублажать, только чтобы он не выдал ее сына. Но однажды Шурка сам попался немцам на глаза. Но и здесь помог все тот же его детский рост. Глядя на него, немцы и подумать не могли, что перед ними солдат Красной Армии. Как говорится, не было бы счастья, если бы несчастье не помогло. Я имею в виду недокормленное Шуркино детство. А после войны Шурка пришел к матери совершенно неузнаваемым человеком. На ее дорогах да на солдатских харчах он и вырос, и раздался в плечах, и заговорил мужицким голосом так, что и мать родная могла не узнать. Но она-то узнала!

Однако тогда, в ноябре сорок первого, до этой встречи было еще далеко-далеко. Однажды Мать собрала сына в дорогу, чем могла, снарядила, во что могла, потеплее одела, благословила и проводила в темную осеннюю ночь. Как он шел, где спал, где согревался от лютого декабрьского холода, знает только он сам. Дошел Шурка до Подольска. Прошел там проверку вместе с другими окруженцами и, поскольку он был еще несовершеннолетним и не подлежащим призыву в армию, был отпущен на все четыре стороны. Скоро он добрался до Москвы, до своего завода «Компрессор» и чертежно конструкторской мастерской. Но чертежником он не стал и в этот раз. Жить было трудно ему одному без какой-либо поддержки. И голодно было, и холодно. И пошел Шурка второй раз в добровольцы. На этот раз в плен он больше не попадал.

А Мать его Анастасия Ивановна с младшим сыном Колькой еще бедовала в своей холодной хате. Наконец Красная Армия в январе – феврале 1942 года подошла ко Мценску. Но освободила полностью его только в 1943 году. До Великой битвы на Курско-Орловской дуге оставалось еще полтора года. Деревня наша, то, что осталось от нее, была наконец освобождена. Тем не менее она оставалась еще в полосе боевых действий, и населению здесь было оставаться опасно. Только теперь Анастасия Ивановна приняла решение бросить дом. Вместе с Колькой и несколькими другими вдовами она пошла в Москву.

Какое-то время перебивались у моих родителей, в нашем свободном от нас, братьев, ушедших на войну, доме. С помощью Отца кое-как устроилась на работу. Анастасии Ивановне досталась дворницкая на Рязанской улице в административном здании Наркомата путей сообщения. В руках оказались знакомые орудия труда: метлы, лопаты, лом. Но теперь у нее была зарплата и продовольственная карточка на себя и на Кольку. Удалось пристроить и его в ФЗУ. И стал Колька учиться на сапожника. Во время короткой побывки дома осенью 1943 года я встретил эту пару у нас дома, в Перловке. Колька был в фэзэушной форме. Он подрос и выглядел уже неузнаваемо. А сапожное дело, которое стало его профессией, оказалось для него роковым.

После войны, в 1948 году вернулся из армии старший сын, с наградами, возмужавший, полный уверенности и деловой энергии. Он опять пошел работать на завод «Динамо», поступил в техникум при заводе и стал по его окончании инженером-конструктором. Здесь же и проработал до выхода на пенсию и еще несколько лет после.

А Колька ушел по возвращении старшего брата служить во флот. Четыре года служил он на Тихом океане и вернулся домой красавцем – старшиной или даже главстаршиной. Случилось так, что однажды у нас в доме в 1952 году встретились два красавца матроса. Один был мой двоюродный брат Валентин Михайлович Ушаков, а другой – Николай Тихонович Левыкин. Один служил в морской авиации на Балтике, а другой – на боевом корабле Тихоокеанского флота. Один тогда демобилизовался, а второй прибыл в краткосрочный отпуск. Продолжала-таки деревня наша сухопутная российскую боевую морскую службу!

А Шурка, теперь уже Александр Тихонович, к этому времени стал семейным человеком. Невесту себе он взял из деревни – дочь нашего кренинского мужика Федора Кузьмича Ермакова Раису. Она к этому времени успела окончить Педагогический институт в Орле. Население дворницкой на Рязанской улице стало пополняться. Женился и Колька. И тут уже стали назревать известные коллизии между снохами и братские распри. А Анастасия Ива-

новна по-прежнему работала дворником. Правда, основную ее работу по ночам выполняли сыновья.

Не могу я уже теперь с достаточной достоверностью описывать дальнейшую жизнь нашей деревенской соседки и ее сыновей. Жизнь как-то незаметно развела нас. В послевоенные годы мы редко виделись. Когда были живы мои родители, то земля наша деревенская регулярно собиралась по праздникам или просто по воскресеньям у нас в Перловке. Всем там хватало места. Но родители ушли из жизни, и связи наши не только соседские, но и некоторые родственные оборвались. Какая-то информация продолжала поступать от случайных встреч. Я узнал, что Александр Тихонович получил квартиру от завода «Динамо» как ветеран войны. А Анастасия Ивановна получила квартиру от ведомства, которому принадлежал дом в связи с его реконструкцией. Осталась она жить с младшим сыном. Она была нужнее в этой семье. Ее беспокойная жизнь продолжалась. Младший сын, сапожник, сдружился с зеленым змием, и новая беда упала на плечи Матери. Она продолжала работать, чтобы дети ее младшего сына не остались неграмотными и голодными.

Однажды я, возвращаясь из университета домой, зашел в магазин «Детский мир». Было это зимой, в конце шестидесятых. Магазин уже был перед закрытием. В тамбуре, между дверьми выхода из магазина на Пушечную улицу я вдруг обратил внимание на старушку уборщицу, которая энергично и тщательно мыла полы. А мимо нее, через ее тряпки шли люди. Прошел бы и я. Но вдруг в старушке я узнал Анастасию Ивановну. Я попытался с ней пошутить, будучи уверен, что она меня не узнает. А она подняла от тряпок свои живые глаза, всплеснула руками и запричитала в искренней радости от встречи с родным человеком. Тогда Анастасии Ивановне было уже восемьдесят лет. Она еще работала и помогала детям горемычного своего младшего сына. Это была последняя встреча с добрым человеком, который тогда, после смерти моих родителей, вместе с теткой моей Анной Васильевной оставался последним представителем старшего многострадального поколения обитателей деревни нашей.

Написавши свои воспоминания о вдовьей жизни соседки нашей Настасьи Ивановны и ее сирот-сыновей и прочитавши написанное, я увидел, что слова мои не передали и половины их жестокой беды. И тут вспомнилась мне одна послевоенная встреча с ними в полуподвальной дворницкой на Рязанской улице. Вспоминали нашу деревенскую жизнь. Мы с Шуркой затосковали по нашему выгону, лапте, по садам, по деревенскому квасу и лепешкам. А у Настасьи Ивановны не было ни тоски, ни печали об ушедшей жизни. Были только воспоминания о несчастьях, голоде и холоде со словами проклятия и жестокого суда над злым роком. В день своего последнего приезда в деревню на месте ее дома я не нашел ничего, что сохранило бы память о ней. Сюда давно уже никто не приходил и уж не придет вовсе никогда.

* * *

Много разных живых картин из жизни нашей деревни воскресает в моей памяти. Моя жена однажды прочитала мои записки и не поверила в то, что я все мог запомнить. Сколько я ей ни объяснял, все равно не поверила. «Как это так,— спрашивала она,— с такими подробностями, да еще с такими обобщающими оценками можно запомнить то, что когда-то видел несмышлеными детскими глазами?» А я не мог ее убедить в том, что можно, что в воспоминаниях своих я ничего не выдумывал, а писал только о том, что видел собственными глазами или слышал от моих родителей, братьев и сестер, родных и двоюродных. Такая вот у меня оказалась память. Она в конце концов и заставила меня взяться за карандаш. Но при этом я должен сознаться в том, что все виденное мной детскими глазами, все, что запечатлелось в моей детской памяти, я осмысливаю по прошествии многих десятилетий, издали, глазами

и умом другого человека, каким я стал в свои более чем семьдесят лет. Тут я могу быть и неточен, и неправ, и даже несправедлив. Скажу только одно: я старался быть справедливым. Ну а глазам своим детским я все-таки верю. С памятью моей ничего не поделаешь.

Вот и теперь я вспоминаю картину деревенской жизни. Летом в обеденный перерыв мужики собрались около правления колхоза. Только что принесли почту и газеты. Кто пришел почитать их, а кто – разжиться бумажкой на курево. В лето это пришло сообщение о начале военных действий в Монголии. Был тогда 1939 год. Через месяц должна была начаться Вторая мировая война. Газету «Правда» читает вслух наш сосед Сергей Петрович Левыкин. Читает и откровенно комментирует: «Скорее бы уж немец начинал. Он им всем покажет!»

Не очень умный был этот мужик, наш деревенский сосед Сергей Петров. Да и были у него кое-какие мелкие счеты не столько с Советской властью, сколько с правосудием. И он ждал войну, ждал немцев и надеялся на реванш за личные обиды. Никто из присутствовавших мужиков ему не возразил. Я от возмущения и удивления слова не мог вымолвить. Сергей Петров стал с этого дня моим врагом. А ждать оказалось недолго. Желание его сбылось. Но что из этого вышло? Об этом расскажу по-порядку.

Наши усадьбы были рядом, на нашей стороне центрального проулка. Я уже говорил, что сады наши состояли из общего порядка яблоневого деревья. Было такое впечатление, будто бы когда-то этот общий сад разделили пополам и перегородили плетнем. Ни мы, ни соседи друг к другу каких-либо территориальных претензий не предъявляли. Жили мирно и дружелюбно. На этой соседней усадьбе жили два брата, две семьи, в одном доме. Старший был Сергей Петров, а младший – Илья Петров. Но в начале тридцатых годов, а может быть, в конце двадцатых братья решили разделиться. Илья Петров буквально отломал у старшего брата половину дома и переехал с ней на новую усадьбу, выделенную ему на юго-западном краю деревни, справа от колычек, на пустом месте. Там он построил себе кирпичный дом. Но как-то не прижился в нем. Все пытался пристроиться на стороне. В колхозе оставаться не хотел.

А старший брат, Сергей Петров, был человеком многодетным, и потому некуда было ему от детей уходить. Остался ему при разделе, кроме половины дома, амбар и скотный двор. На скотном дворе содержалась уже знакомая нам коварная корова Бырдя. Было у Сергея Петрова три дочери и сын. Старшую звали Евдокией, она была ровесницей моего старшего брата, с 1912 года. Средняя соответственно была ровесницей моего второго брата – с 1914 года. Ее звали Еленой. А младшая – Ольга или, как ее звали, Олятка училась вместе с моей сестрой. Сын был ровесником мне. Звали его Васькой по кличке Черкес. Шапка у него была на манер черкесской папахи. Так его за это и прозвали. Дела в семье шли нормально. Не лучше, но и не хуже, чем у других. Сергей Петров мужик был хоть и не очень умный, но физически крепкий и в хозяйстве понимающий. Но пришла беда. Жена умерла, когда младший, Васятка, был еще совсем маленьким. И не было выхода у мужика другого, кроме как привести в дом другую жену. А какая же невеста пойдет за такого многодетного? Нашел-таки Сергей Петров вековуху Акулину в одной из дальних деревень и привел к себе в дом. С этого времени и навалилась на детей горькая сиротская беда. Акуля оказалась жестокой, бессердечной и злой мачехой. И к тому же еще неряшливой и ленивой бабой. Я ничего хорошего о ней сказать не могу. Какая-то она была забубенная, беспонятная и очень серая, неумная. Всем детям стало плохо. Но больше всего лиха выпало младшим – Олятке и Ваське. Старшие недолго прожили с ней вместе. Евдокия скоро уехала в Москву, как и другие, в прислуги, по протекции соседки Марии Ивановны.

А средняя, Елена, – на Косую гору под Тулу на строительство металлургического завода.

Попытался, было, и Сергей Петров вместе с оставшимися детьми в связи с начавшейся коллективизацией уйти из деревни. На какое-то время пристроился в Москве и жил на Божьей домке, нынешней улице Дурова, в населенном не одной семьей подвале. Да ничего из этого не вышло. Вернулся в свой дом, вступил в колхоз. А тут случилась вторая беда. За мелкое воровство получил два года. А Акуля в это время родила ему сына. Колькой называли.

Как прожили дети-сироты до возвращения отца, описать невозможно. Для Васьки у мачехи не было другого имени, кроме как «паразит». На всю деревню не было у ребят таких черных от грязи ног, как у него. До глубокой осени мальчишка ходил босиком. Кожа на ногах и руках трескалась от цыпок и кровоточила. Некому было заметить его гноящихся от золотухи ушей. Только сестра Ольга старалась хоть как-нибудь, хоть что-нибудь для него сделать – помыть, постирать и покормить. Но какие у нее были возможности? Она сама переживала те же невзгоды, что и брат, и так же, если не больше, была постыла своей мачехе. На ее плечи легла вся работа по дому. Мачеха очень охоча была поспать, особенно летом в амбаре. В доме мешали мухи и тараканы-прусаки. Ни в одном деревенском доме я не видел такого количества прусаков. Они с шуршанием ползали стройными рядами по стенам, оклеенным газетами, и по стенкам печки. Одни ползли вниз, а другие им навстречу – вверх.

Трудно было детям без отца. И голодно, и холодно, и обидно. Лишила их детства забывчивая мачеха Акулина Ивановна. Не было, конечно, у нее возможностей заменить детям мать и дать им больше того, чего она не имела и сама. Это все понимали. Но не за это судили. Детская сиротская беда не выдавила из ее дремучей души ни капли женского сострадания. Не знала она тогда, чем это ей обернется в старости.

Но жизнь детей мало изменилась и тогда, когда отец вернулся из первой отсидки. Нужда прочно обосновалась в доме, как, впрочем, и в других деревенских домах. Дела в колхозе шли неважно. Надеяться на трудовень было нельзя. В начале тридцатых годов и до тридцать восьмого шла непрерывная неурожайная полоса.

Чистого хлеба в эти годы не пекли ни в одном доме. Но в доме у Сергея Петрова было и того хуже. Главенствовала все та же мачеха Акуля. Отцу некогда было позаботиться о детях. Он все пытался найти выгодное дело, какими-нибудь побочными занятиями выпрыгнуть из крайней нужды. Для серьезных занятий у него, однако, не было ни знаний и, я бы сказал, ума. Большой он был, здоровый, а сметливости хозяйской не имел. До образования колхоза он норовил пристроиться к богатому соседу и что-то выгадать из его прибыльного дела. Но богатый и умный сосед был сам не дурак. Мало чего доставалось Сергею Петрову, кроме, может быть, традиционного магарыча в виде самогонки. Собственного хозяйства поднять не мог, так как необходимого ресурса не имел. Лошадь у него была так себе – старый мерин Оглоед, а корова – известная Бырдя. Да и помощников не было. Один Васька мог быть им, да еще мал был. А Акуля вслед за Колькой родила ему еще одну дочь – Валентину. Другим все это было бы в радость. А Сергею Петрову – только забота. Как тут из нее вырвешься? Попробовал что-то сделать за счет колхоза. То ли что-то где-то припрятал, то ли воз зерна провез мимо элеватора. А кончилось дело тем, что сел второй раз. Недолго сидел – год или полтора. Но домой вернулся с большой обидой на Советскую власть. Теперь он надеялся, что только война с Советской властью освободит его от нужды. Поэтому он так откровенно на крыльце колхозного правления высказывался, читая вслух газету «Правда». Хотел Сергей Петров, чтобы пришли немцы и «показали им!».

К этому времени его старшие дети уже уехали из деревни. В городе Мценске в это время работала бухгалтером Ольга. Ей удалось после восьмилетки закончить бухгалтерские курсы. А Ваську Сергей Петров отвез в Москву и устроил в ФЗУ.

И вот наконец грянула война. В конце лета сорок первого она была уже во Мценске. А в деревне завершалась уборка долгожданного богатого урожая. О том, как жила в эти дни деревня, мне рассказывала жена председателя колхоза, моего дяди Мария Михайловна Уша-

кова. Сам председатель в это время *был* тяжело болен. Значительная часть мужчин была призвана в армию. В основном в деревне оставались женщины и немногие мужчины старшего возраста, если не сказать – просто старики. Среди них был и Сергей Петров. Власти советской уже не было. Люди были предоставлены сами себе. Обмолоченное зерно сдавать было некуда. Во Мценске уже были немцы. А зерно лежало в ворохах на току. Стали думать, что с ним делать. И решили разделить по личным закромам. Но как, по какому принципу? Недолго думали женщины и предложили делить по заработанным трудовням. Но тут взвилась сермяжная натура Сергея Петрова. Он не предложил, а потребовал делить «по душам». Как тут же оказалось, он намерен был получить долю и на своих девок, которые давно уже в колхозе не только не работали, но и не жили. Женщины не приняли этого требования и настаивали на привычном трудовне. И уж было приступили к расчетам, но тут Сергей Петров рухнул всем своим огромным туловищем на ворох пшеницы и заорал: «Не дам! Только по душам!» Но проблема очень скоро решилась проще. В деревню пришли немцы и распорядились с зерном по-своему.

Для Сергея Петрова началась суровая школа перевоспитания в духе преданности Советской власти. Фашисты милостей ему не оказали. Кое-как удалось уберечься от отправки на работы. А осень и зима принесли опять и голод, и холод.

Как только немцев выгнали из нашей деревни, Сергея Петрова призвали в Красную Армию. Ему тогда было только 48 лет. Не молодчиком уже был, но и не стариком. И дошел солдат до Вены, и отмечен был и орденом, и медалями. В числе первых победителей вернулся в Москву. И только здесь узнал, что сын его Василий Сергеевич пал смертью героя в Сталинградском сражении. В деревню уже ехать было некуда. Все дочери были в Москве. А Акулина его с младшим сыном и дочерью жила в это время в Скуратово Тульской области.

Видимо, Сергей Петрович разжился в боевом походе трофеями. Потому что очень скоро с девками своими Евдокией, Еленой и Ольгой купил дом в бывшей деревне Леонидовка в Мытищенском районе. Жил вместе с ними. И работу себе нашел подходящую. Ему бы раньше сообразить, да соответствующего вида не имел. Отрастил себе бороду и стал монументом-швейцаром в подъезде ресторана «Метрополь». Нашел человек свое место.

Решили дочери его взять к себе и младшую сводную сестру Валентину. А с нею и запросилась к ним мачеха Акулина Ивановна. Но те ей вынесли свой суровый приговор за обездоленную б» молодость свою, за обездоленное детство своего младшего брата Василия. Не пустили ее к себе и прощения не дали. Осталась Акулина Ивановна при своем младшем сыне. Говорят, что он здорово пил и на том жизнь свою кончил.

Сергей Петрович давно уже помер и похоронен на одном с моими родителями кладбище. Дочери его, пока живы были, не забывали отца и за могилой следили исправно. Всякий раз, когда приходили на кладбище, не забывали навестить могилу и моих родителей. Они и им много добра сделали. Но теперь и их уже нет. Сначала умерла Елена, потом Евдокия, а за ней и Ольга.

Братья Сергей Петрович и Илья Петрович Левыкины внешне были непохожи друг на друга. Старший был богатырского роста. Ничего не скажешь, был он и красив. А Илья Петров ростом был мелковат, и, видимо, в сравнении с могучим братом в деревне его прозвали Дробным. Прозвище очень точно обобщало не только внешность, но и внутреннюю сущность этого человека. В благополучные годы своей жизни он выглядел упитанным мужичком с веселым и общительным нравом. Круглое розовощекое его лицо с глазами удалого гуляки, сытенькое небольшое брюшко породили и второе прозвище, которое как бы дополняло первое. Называли его еще и Сдобным. Дробный Сдобный. Так на выбор называли его и в молодости и уже в зрелом возрасте и друзья, и просто соседи, не вкладывая в эти прозвища никакого обидного смысла, а потом эти клички по наследству перешли к его младшему сыну Владимиру. Он рос очень похожим на отца.

Илья Петрович был весел и словоохотлив. Умел водить дружбу. Был гостеприимен по праздникам и сам принимаем в домах своих друзей и деловых знакомых. Дружил с моим Отцом и со всей нашей семьей. А вот в компании со своим старшим братом он мне почему-то не запомнился. Была ли этому какая-нибудь причина, я не знаю. Может быть, на отношения братьев повлиял неравный семейный раздел.

От отцовской усадьбы Илье Петровичу ничего не досталось. Видимо, при разделе норму выдела определяли по едокам. А у Сергея Петрова их было уже пятеро, кроме самого себя и Акул и. Так что младшему досталась только половина дома. Он отломил ее из-под отцовской крыши и использовал в качестве пристройки к новому дому, который он построил из красного кирпича, произведенного на нашем деревенском кирпичном заводе. Дом был поставлен на краю деревни, на необжитом участке. Но хозяину не удалось обжить не только этот на ветру расположенный кусок земли, но и сам дом. Он получился большой, с толстыми, в четыре кирпича, стенами, с маленькими окнами и неудобным расположением внутренних комнат и кухни. Пол в доме был земляной. Хозяин так и не успел разжиться досками.

Кроме дома, на усадьбе был построен амбар и двор для скотины.

Братья, впрочем, разделились мирно, но друг к другу в гости не ходили. Дети же своих родственных чувств друг к другу не потеряли.

Так или иначе, строительством кирпичного дома на новом и необжитом месте Илья Петрович обозначил намерение вести свое хозяйство и продолжать свою жизнь в родной деревне. В отличие от старшего брата семья его была невелика. Был он сам четвертый. Жену звали Анной Михайловной. Она, как и моя Мама, была родом из соседнего Ушакова. Они всю жизнь были подругами.

Старшего сына Ильи Петровича звали Константином. Мы с ним были тезками. Но он был старше меня на пять лет. Родился он в 1920 году. Младший, Владимир, родился в 1926-м.

В доме Ильи Петровича жил еще один человек, на правах члена семьи. В течение многих лет он, можно сказать, был управляющим всем его хозяйством. Человек этот попал в семью, как и многие другие, в конце Гражданской войны из мценского приюта для детей из голодающих областей Поволжья. Вырос он в приютившей его семье в настоящего мужика, хоть и ростом невеликого, Павла Ильича. Дали ему в нашей деревне кличку Чекарь. А настоящей его фамилии до самой войны никто в деревне не знал. Может быть, он был даже и нерусской национальности. Я предполагаю по внешнему его облику, что он был чувашом. Сам он о своем происхождении никому не рассказывал, да и никто об этом его не спрашивал. Стал Павел Ильич в нашей деревне своим человеком, полноправным членом колхоза. А в доме Ильи Петровича он занял очень важное место. В связи с отсутствием по разным причинам в течение длительного времени самого хозяина он выполнял его роль вплоть до обязанностей воспитателя его сыновей. Он был им и нянькой, и отцом. Дороже их для него на свете никого не было. Он всегда близко к сердцу принимал их болезни, неудачи, проступки и радовался их успехам.

От лица хозяина дома, Ильи Петровича, Пашка выполнял в колхозе «Красный путь» все его тягловые обязанности. Сам же хозяин к колхозной жизни интереса и приверженности не обнаружил и все время искал себе занятие в коммерческих сферах. Но удача на этом поприще не всегда ему сопутствовала. Случалось и наоборот. Первый изъезд в его биографии случился еще до Советской власти. В 1917 году, при Временном правительстве, чтобы не попасть на фронт, он поступил на службу во мценскую городовую милицию. А при Советской власти ему неоднократно приходилось давать в связи с этим объяснения и отвечать на вопрос: «Служил ли до Великой Октябрьской революции в царской армии или в полиции?», хотя служба в городских продолжалась всего несколько месяцев. Так Илья Петрович оказался в разряде политически неблагонадежных. Несмотря на то, что он никогда не принимал участия в каких-либо акциях против власти, накануне коллективизации он лишился изби-

рательных прав. Прошлое преследовало Илью Петровича со стороны всяких уполномоченных, часто навещавших деревню. Может быть, поэтому, не желая осложнять себе жизнь и не найдя интереса в колхозе, Илья Петрович пытался найти себе другой род занятий и образ жизни. Но для этой другой жизни у него не оказалось нужных качеств, и прежде всего грамотности и минимума экономических знаний. Так же как и старший брат, он просто считал возможным удовлетворить свой материальный интерес за счет государственной собственности. И, конечно, так же как и старшему брату, ему удалось дважды испытать на себе суровую силу правосудия.

Первый раз это случилось в начале тридцатых годов, когда Илья Петрович работал во Мценске то ли в Заготзерне, то ли в Райпотребсоюзе то ли кладовщиком, то ли весовщиком.

Видимо, не устоял он тогда от соблазна и получил свой первый приговор на небольшой срок. Нет смысла оправдывать его проступок. Он был один из немногих малограмотных мужиков, которых увлекало и увлекает теперь, даже очень грамотных людей, возможность решить свои проблемы за счет социалистического, а теперь демократического государства. И все-таки и тогда, и теперь я делаю ему скидку на его малограмотность и на очень примитивное правосознание. Сидел он недолго. Все мужики, в ту пору попадавшие в лагеря, честно и добросовестно отработывали свое наказание, как правило, на строительстве социалистических гигантов. Через год или два Илья Петров вернулся домой.

На это время в первый раз хозяином в доме оставался Пашка Чекарь. Ни жена, ни дети Ильи Петровича в его отсутствие не голодали и не холодали. Старший, Костик, учился во Мценске, а младший только еще подрастал к школе. Пашка управлялся со всем хозяйством. Были у них и корова, и куры, и овцы. Зарабатывал Павел и трудодни. Он был постоянным конюхом, но мог выполнить, и выполнял, любую другую работу: и на пашне, и на сенокосе, и на жатве, и на молотье. На молотье он запомнился мне особенно – как погоняльщик на конном приводе молотилки. Пашка стоял на платформе поворотного колеса передачи, размахивал над головой кнутом и звонким голосом распевал лошадям: «Ей, пошел, пошел!» А потом присвистывал, шелкал кнутом и снова пел: «Ей, пошел, пошел!» Нам, ребятишкам, очень соблазнительно было это видеть. Мы просились к нему. Он позволял нам стать вместе с ним на платформу. И, вращаясь вместе с ним на поворотном колесе, мы помогали своим визгом: «Ей, пошел, пошел!» А в обеденный перерыв, когда лошадей отводили на водопой, а Пашка уходил обедать, мы поочередно занимали его место на платформе с кнутом. В роли лошадей были мы же сами, посменно, по одному на каждое правило. Сейчас таких развлечений у детворы уже нет. Аттракционы в «Луна-парках», конечно, более изощренно действуют на детские эмоции. Но все же они с нашими каруселями на молотильном приводе и со звонким визгом «Ей, пошел» несравнимы. А еще я любил с Пашкой вместе с его воспитанником Вовкой ездить косить вику на корм лошадям. Пока Пашка косил, мы в зеленой вике искали горох. Набирали стручки за пазуху. А потом ехали на невысоком возу только что скошенной зеленой вики и ели сладкий горох прямо в стручках. А Пашка, легонько погоняя кобылку, рядом с которой бежал жеребеночек, пел. Пел он высоким, чистым голосом все про того же Хасбулата удалого.

Удивительно добрым и по-детски простым, доверчивым человеком был Павел Ильич Чекарь. Часто его так и называли по имени и отчеству, подчеркивая к нему доверие. Но и на Чекаря он тоже не обижался. Он никогда не обижался ни на своих подопечных хозяйских сыновей, ни на нас, их товарищей. Я не помню случая, чтобы он при нас матерился. В своих собственных потребностях он был неприхотлив. Одеждой и обувью не щеголял. А где их ему можно было взять? Но очень Пашка был вынослив и терпелив. Он никогда не болел. В его неказистой и корявой фигуре было много физической силы и выносливости. Помню, однажды, когда мы ездили за викой, он наступил на косу, брошенную им самим неосмотрительно вверх жалом. Мне показалось тогда, что коса отрезала ему пол пятки. Кровь хле-

стала. Мы галопом погнали лошадь в деревню к нашему дому, так как только у моей Мамаы были йод и бинты.

Нам было страшно смотреть, как Мама промывала ему рану, заливала ее йодом, а Пашка только кричал. Потом он приходил на перевязки. Рана очень быстро затянулась, пятка снова срослась так, что и рубец было невозможно заметить. Бюллетеня на этот случай в колхозе тогда не выдавали, и Пашка с прискоком на одну ногу косил и грузил на телегу зеленый лошадиный корм. После работы на конюшне Чекарь успевал выполнить все свои домашние дела. И все это делалось под песню. Иногда они вместе с Анной Михайловной уже в сумерках приходили к нашему дому и все троем с нашей Мамою пели песни.

После отбытия первого срока хозяин Илья Петрович недолго задержался в своем неуютном кирпичном доме. Теперь он уехал из деревни в Тульскую область и там в деревне Кресты на станции Выползово поселился у местного крестьянина. Здесь он нашел себе работу то ли в сельпо, то ли опять в потребсоюзе все в той же должности или кладовщика, или весовщика. Перспективы остались те же, но на этот раз с ним из деревни уехала и жена Анна Михайловна.

Сыновья остались в деревне, с Павлом Ильичом. Мать наезжала к ним часто, но ненадолго. А ребята не очень скучали без родителей. С Пашкой они жили весело и беззаботно, особенно в летние месяцы. Жили с ним душа в душу. От него братьям никакого запрета не было. Но особенно свободой дорожил и наслаждался в отсутствие родителей старший брат Костик. У нас в деревне среди своих сверстников и особенно среди подрастающей детворы он был личностью выдающейся.

Таких, как наш Костик, в русских деревнях называли первыми парнями на деревне. Они были заводилами и организаторами нехитрого, но веселого и неутомимого деревенского молодежного досуга. Когда наш Костик по каким-либо причинам отсутствовал, то деревня как-то вдруг словно бы затихала, впадала в какую-то тоску и унылое состояние. Но и сам наш герой в такие дни отсутствия тосковал о ней безмерно. Неведомой силой деревня всякий раз возвращала его назад, на выгон, в сады, на сенокос, на молотьбу, к нашей веселой колхозной кузне. Может быть, поэтому он был так незадачлив в учебе во мценской школе и в первых его попытках приноровиться к городской жизни в Орле. Во мнении старших людей в нашей деревне Костик пользовался репутацией шалопая. Учился он плохо, да и к работе был не слишком прилежен. Но откуда им было знать и понять истинные причины казавшихся им прегрешений непутевого возмутителя деревенского спокойствия? Наши родители и родительницы не могли понять того, что именно в этих прегрешениях и проказах проявлялся его талант деревенского вожака.

В деревне у нас тогда не было ни кино, ни библиотеки, ни клуба. Но живы были еще свои, народные игры и затеи. И Костик был их организатором, режиссером, непосредственным исполнителем импровизированных спектаклей, забавных и безобидных проказ и гуляний. Он для нас был и играющим тренером, и абсолютным чемпионом в наших бесхитростных, но увлекательных играх – соревнованиях на быстроту, ловкость и смекалку. А как он играл в лапту! Дело не в том, что он ловко и сильнее всех бил лаптой по тугому литому мячу, и не в том, что он удачнее всех ловил свечи и метко попадал мячом в бегущих девиц обязательно ниже поясницы. Он играл с азартом, со спортивным риском. Он не боялся проигрывать. А проиграв, с тем же азартом брал реванш. Он все время терзал противников своим рискованным озорством, вынуждая и их действовать так же. Без Костика лапта не была лаптой. Не было бы без него в деревне и наших вечерних улиц около кузни. В 1939 году на финской войне погиб наш деревенский гармонист Василий Романов. Осиротела тогда улица без него. Но не надолго. Гармониста заменил у кузни балалаечник Константин Ильич Левыкин. На балалайке он научился играть сам. Для танцующей улицы он мог сыграть на любой заказ и вальс, и краковяк, и полечку, и тустеп, и семеновну, и ойру, и даже падэспань. С улицы

Костик уходил последним. За ним неотступно следовали мы, его верные слуги. Спать нам еще было рано. Мы провожали кумира до самого дома, если он, конечно, не был занят какой-нибудь симпатией и не прогонял нас от себя. Он шел по деревне, наигрывал на балалайке и пел озорные частушки:

По деревне мы идем,
Спите, спите, тетушки,
Дочерей ваших ведем —
Спите без заботушки.

Только проводив его до дозволенной черты, мы разбредались по домам. Константин был уважаем своими сверстниками. Они тоже признавали его превосходство. Но мне кажется, что ему гораздо интереснее было водиться с подрастающей ребятней. Он подчинил нас своей воле, но никогда не угнетал, никогда не эксплуатировал нашу к нему любовь и доверие. Он с нами играл, он нас учил, он показывал нам пример веселого заводилы. С ним мы гоняли в ночное лошадей. С ним ездили в поле скородить, а случалось, что и двоить пары. Он показывал, как надо ходить за плугом. Научив нас, он доверял нам свою работу, а сам подремывал после бессонной улицы сбоку пашни, наблюдая за нашими действиями, готовый всегда прийти на выручку. В табуне он доходчиво и непосредственно помогал нам понять взаимоотношения жеребца и охочей кобылы в момент их пылкой любви. Он умел в таких случаях помочь неопытному в страсти жеребцу попасть туда, куда надо было попасть.

Он водил нас в лес по грибы и по ягоды. С ним вместе мы соревновались, кто больше наберет орехов. Мы считали их по копнам, и он определял победителя. Под его командой мы совершали походы на далекую речку Зарощу. Под его присмотром купались в ней, ловили штанами мелкую рыбешку и вытаскивали из-под берега страшных раков. А иногда перед вечером Костик развлекал всю деревню своим спектаклем одного актера. Он наряжался в старые, рваные одежды, мазал лицо сажей и с мешком шел по деревне просить милостыню. Чаще всего такие спектакли удавались ему на новину, когда крестьяне получали на трудодни хлебный аванс и во всех домах пекли хлебы, ситники, лепешки. Сюжет спектакля был прост и не нов для тогдашней крестьянской жизни. Но все жители деревни с интересом участвовали в нем, потешаясь над добрыми старушками, которые только одни не узнавали в убогом нищем проказника Костика. Они выносили ему в подаяние хлебушка, а то и яичко, заводили с ним участливый разговор: откуда он, из какой деревни и что заставило его пойти с сумой, плакали, слушая его жалостливые ответы. Старики отгоняли нас от просящего подаяние странника, защищали его от наших наскоков. А странник, вдруг сделав страшное лицо, бросался на нас. И тут мы, словно позабыв о том, что перед нами был наш руководитель, бросались от него в страхе в разные стороны. Но кульминационным моментом спектакля была сцена его встречи на пороге родного дома с родным Пашкой Чекарем. Простодушный и добрый Пашка кроме хлеба угощал его и молочком. Проказливый насмешник не мог понять, что для него, сироты, это была не наивная игра, а пережитая им самим страшная страница голодного и холодного детства.

Наколотившись в деревне после улицы, Костик лишь перед рассветом добирался до своего амбара, на потолке которого он мог лишь прикорнуть на часок перед тем, как надо было вставать на росу. Там игры продолжались среди сверстников и сверстниц. Тут же начинались и первые уже не детские увлечения. Поклонниц у Костика было много. Но он не спешил расставаться с детством. Ни одной из них не удалось увлечь его своими чарами.

Пригнавши корову с росы, наш герой наконец забирался на свой сеновальный потолок в амбаре и засыпал крепким сном почти до обеда. А мы, его ребячье войско, изнывали в ожидании, когда проснется наш командир. Мы собирались около амбара и, боясь разбу-

дить и навлечь на себя гнев командира, тем не менее всячески старались ускорить пробуждение. Младший брат Костика Володька выносил нам две братовы балалайки, и мы начинали учиться на них играть. Одна балалайка была обыкновенная трехструнная, а другая – г–шестиструнная. Лучше всех получалось у Ваньки Шалапина. Наверное, когда-нибудь он занял бы место Костика на деревенской улице. Он уже наигрывал страдания, «Ночку», «Светит месяц». Старался научиться играть и я. Но кроме «Ночки» у меня ничего не получалось. Я не смог пересилить боли, нажимая на струны пальцами левой руки и ударяя по ним пальцами правой. Вот так, попеременно мы бренчали под амбаром балалайками. Разговаривали негромко. А иногда даже отваживались влезть на потолок, туда, где спал предводитель.

Наконец из-под крыши амбара показывалась сонная и недовольная нашим шумом физиономия Костика. Мы отскакивали от амбара, боясь неотвратимого наказания. Иногда оно имело место. Но чаще командир ограничивался словесными замечаниями.

Он посылал нас за водой. Мы быстро выполняли эту несложную команду. Потом мы поливали ему воду из кружки, а он умывался. Начинался его завтрак, приготовленный Пашкой. Иногда Костик посылал нас на двор собрать по гнездам куриные яйца. Тут же он быстро на загнетке разводил огонь и из принесенных яиц на огромной сковороде делал яичницу с молоком. Только потом, в Москве я узнал, что эта яичница называется омлетом. Хозяин усаживал нас вокруг сковороды, и мы вместе с ним, не скрывая своего восхищения от командирского гостеприимства, ели эту очень вкусную яичницу.

А дальше все налаживалось своим чередом. Если у Костика были обязанности по дому, то мы их выполняли, чтобы освободить его от забот. Поливали огород, обирали вишни. А после того как эти поручения выполнялись, мы всей ватагой отправлялись в поле, на пруд, на речку, на молотьбу – туда, куда определял наш путь вожатый. Иногда мы вместе с другими старшими ребятами – но непременно с Костиком – участвовали и в выполнении несложных колхозных работ.

Костик с большим запозданием, со второгодними пересидками окончил семилетку и учиться дальше не захотел. Родители решили устроить его на работу в городе. Дело это ускорило тем, что вдруг снова отец его Илья Петрович оказался под судом по той же причине, что и в первый раз. Теперь он получил большой срок наказания. А было это или в 1937, или в 1938 году. Наш Константин поступил тогда учеником токаря на большой завод в городе Орле. Не знаю, как переживет Костик разлуку с деревней в зимние месяцы. Но мы, его верное ребячье войско, летом в последние предвоенные годы чувствовали себя сиротами.

Теперь он приезжал в деревню из Орла только на выходные дни. Там он не находил себе свободного и интересного времяпрепровождения. А деревня его ждала. Ждала и радовалась его приезду. Мы даже бегали встречать его на станцию к вечернему орловскому рабочему поезду. И в пятницу, и в субботу, и вплоть до отъезда мы ходили за ним хвостом. Наверное, мы мешали ему. Ведь он уже становился взрослым человеком. И все же Костик не гнал нас от себя. Он не торопился расставаться с детством, хотя жизнь неумолимо ставила перед ним уже сложные задачи. Надо было принимать на себя заботу о семье. Надо было устраиваться в жизни. В 1939 году он приехал в Москву и при содействии своего родного дяди Егора Михайловича Ушакова устроился на работу в каких-то мастерских Ярославской железной дороги по приобретенной в Орле специальности токаря.

И вот я встретил своего кумира в Москве. Я ждал этой встречи и был уверен, что здесь продолжатся наши забавы. Не мог я осознать того, что без нашего деревенского колодца, без выгона, кренинского пруда и маленькой речки Зарощи, без наших яблоневых садов, без колычек и засеки, без нашей деревни в мир наших забав вернуться уже было невозможно. Свое детство Костик навсегда оставил в покинутой деревне'. Возврата туда уже не было. К нам на Малую Московскую улицу пришел совершенно неузнаваемый человек. Он был одет в форменную железнодорожную тужурку с плеча дяди и был до того скромн, стеснителен

и как-то потерянно печален, что я просто с какой-то горечью утраты не узнал в нем своего командира. Из героя он превратился в неуверенного и застенчивого человека. Мне было его очень жаль в эти первые минуты нашей встречи. Последующие встречи были редкими, а вскоре Константина Ильича Левыкина призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. И он начал свою боевую службу уже в 1940 году в составе советских войск, вошедших на территорию Ирана.

А потом была война, и в 1945 году я встретился с ним – уже с другим человеком. Он, так же как и я, служил в противотанковой артиллерии командиром орудия, прошел войну с начала и до конца. Был ранен и награжден многими боевыми наградами. Деревни нашей в то время уже не было. Его мать и младший брат приютились где-то в городе Лихвине. Туда они эвакуировались осенью сорок первого года. Здесь работал учителем брат Анны Михайловны. Он и помог сестре с сыном выжить в суровое и самое трудное время войны. Сюда к ним в 1944 году приехал и глава семьи Илья Петрович из далекой и долгой отсидки. Его досрочно освободили по состоянию здоровья. По возвращении из лагеря по пути в Лихвин он на несколько дней остановился у моих родителей в Москве. Здесь он был отмыт, одет, обут и накормлен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.